



**Сергей Викторович Мейен:
триумф и трагедия человеческого духа**

ВОСПОМИНАНИЯ О С.В. МЕЙЕНЕ

М.А. Шишкин

Сергей Викторович Мейен был моим однокурсником. Мы поступили на геологический факультет МГУ в 1953 году, то есть в год, когда открылось новое здание университета на Ленинских горах. Обоих нас привлек на факультет интерес к палеонтологии. После пяти лет, проведенных на студенческой скамье, мы далее общались еще более четверти века. Поэтому для меня Сергей Викторович всегда оставался просто Сергеем, и именно так я его буду далее называть. Сперва наша учеба проходила в параллельных группах: Сергей был во второй группе геологов, а я попал в более дружную первую. Но со второго курса, когда палеонтологи выделились отдельно, и вплоть до окончания МГУ, мы учились уже вместе.

Впервые я увидел Сергея той же осенью 1953 года. От этого времени в памяти остался фрагмент, связанный с геологической экскурсией нашего курса в район г. Малоярославец. Сохранилась сделанная мною плохая фотография, где запечатлен момент нашей выгрузки из грузовика. На ней виден Сергей, уже стоящий на обочине дороги, – в плаще, кепке, повернутой козырьком назад, и с какой-то сумкой через плечо, напоминающей противогазную. Не знаю точно, когда возник его интерес к палеоботанике, но для меня он стал очевиден именно после этой поездки. Из экскурсии он привез отпечатки листьев из каких-то четвертичных пресноводных туфов, и они долго были в центре его внимания. Помню, что он обсуждал какие-то касающиеся их подробности со старшекурсницей из числа тех студентов, что руководили нашей экскурсией (она есть на другом снимке, но я не помню ее имени).

Итак, с осени 1954 года мы уже палеонтологи. Часть наших занятий еще проходит порознь в составе «родных» геологических групп, но в основном мы уже учимся вместе. Нас было всего шесть-семь человек (число, сохранявшееся с разными вариациями до конца учебы) и это предопределяло тесные рамки нашего повседневного общения. Из тех, с кем я общаюсь до сих пор, остался лишь Андрей Николаевич Соловьев (опять же просто Андрей), с которым мы работаем в одном институте. Здесь, впервые видя Сергея Мейена постоянно, я не мог сразу же не отметить его необыкновенной энергии и подвижности. Он был остроумен и общителен, хотя за этим и угадывалось чувство дистанции. Случалось, ему приходили в голову какие-то нежиз-

ненные способы развлечений, отражавшие творческий склад его натуры. Так, однажды на наших глазах он быстро нарисовал в тетрадке – страница за страницей – одну и ту же картинку, каждый раз измененную, подобно кадрам в мультфильме. И тут же показал нам этот «мультфильм» в перерыве занятий, взяв тетрадку вертикально и быстро отпуская пальцем опадающие страницы одну за другой. Получилось очень забавно; мы все смеялись, включая и Сергея.

Кажется, еще зимой 1953–1954 годов нам пошили форму – гордость и отличительный признак нашего факультета, роднивший нас с другими геологическими учреждениями и вузами. Мы были последним из курсов, кто ее носил. Каждый из нас помнит свою студенческую тужурку – с молотками в петлицах и с контрпогонями, украшенными золотым вензелем МГУ, этот ненадолго возрожденный реликт дореволюционной эпохи. И Сергея все студенческие годы я помню именно в ней. Она была у него тесноватой, как и у меня (портные сэкономили), и в ней он казался еще более сдержанным, чем был.

Дальше отдельным эпизодом всплывает в памяти наша майская беломорская практика на биостанции МГУ после окончания второго курса. От этого времени тоже осталась фотография, где мы с Сергеем и студенткой из Румынии сидим на каком-то бревне. Сергей – в резиновых сапогах и своей неизменной форменной тужурке. Помню, что жилось нам там интересно и весело, под ненавязчивым и доброжелательным присмотром нашего руководителя, тогда еще преподавателя биофака, покойного проф. В.А. Свешникова. Но детали тех дней уже стерлись.

Сергей рано женился; кажется, уже на втором курсе. Его жена, Маргарита Алексеевна, всегда остававшаяся для меня Ритой и совсем недавно ушедшая из жизни¹, проработала многие годы лаборанткой-машинисткой в лаборатории палеоэкологии ПИН, возглавлявшейся проф. Р.Ф. Геккером. Я не помню, познакомились ли мы с ней в институте, где я иногда бывал, или же где-то еще, но у нас с самого начала установились дружеские отношения. Она очень заботилась о Сергее и всю жизнь служила ему надежной опорой и помощницей. При этом она была аккуратной, умелой и гостеприимной хозяйкой. Скоро сложилась так, что я, Андрей Соловьев и часто еще

¹ В 2004 г. (Ред.).

один-два человека из нашей группы стали бывать у Сергея и Риты дома в качестве гостей – обычно в дни рождения Сергея в декабре, а иногда по другим случаям, кажется, на блины. Их «жилплощадь» в маленькой коммунальной квартире в Левшинском переулке представляла собой, кажется, две тесных выгородки, где они жили вместе с мамой Сергея Софьей Михайловной, урожденной кн. Голицыной. Это была тихая, худощавая, уже очень пожилая женщина с графически правильными чертами лица и седыми выющимися волосами. Она зарабатывала перепечаткой на машинке, и бывало, сидя где-то в стороне, продолжала работу во время наших визитов. Обычно вместе с нами была и сестра Сергея Лиза. Несмотря на тесноту помещения, всем нам было уютно и хорошо. О чем случалось говорить за столом, уже не могу вспомнить; помню только это общее ощущение.

Следующий обрывок памяти – наша первая военная практика в лагерях у г. Буй Костромской области. От нее вообще-то остались очень колоритные воспоминания, но с Сергеем из них связаны только два мимолетных эпизода. Один из них – на стрельбище, где мы вместе с ним и еще двумя однокурсниками стреляли из пистолета. Другой эпизод – выполнение гимнастических упражнений. Когда дошла очередь до прыжков через коня, то Сергей оказался одним из немногих, кто сумел его чисто выполнить. Это было впечатляюще – видеть, как маленький по сравнению с длинным снарядом Сергей перелетает через него в сапогах. Этому упражнению нас всех учили на уроках физкультуры в школе, но большинство делало его спустя рукава. А у Сергея чувствовалась хорошая выучка.

Собранность Сергея и его умение сосредоточиться без остатка на выполняемой задаче – словом, то, что позволило ему сделать так много за его не слишком долгую жизнь, – все это было хорошо заметно уже в те далекие годы. Скорее даже это угадывалось косвенно, хотя бы по его прекрасному владению учебным материалом. (Сам я этими замечательными качествами похвастаться не мог, и мне нередко случалось пользоваться чужими конспектами при подготовке к экзаменам). Но у жизни свои парадоксы, и я припоминаю случай, когда это обернулось для Сергея своей оборотной стороной. Перед экзаменом по геологии Союза проф. А.А. Богданов назначил нашему курсу консультацию, где мы могли задавать ему неясные для нас вопросы. Воспользовался этой возможностью и Сергей. Из первых вопросов, которые он задал, было видно, что он и так знает по ним вполне достаточно. Но ему, видимо, хотелось щегольнуть эрудицией



Маргарита Алексеевна Мейен (конец 1950-х)

(что в нашем тогдашнем возрасте было вполне извинительно), и смысл его дальнейших вопросов сводился уже к возможным неувязкам между отдельными положениями лекционного курса. Я увидел, как Алексей Алексеевич напрягся, побагровел и стал отвечать резко и отрывисто, чтобы не сказать более. Сергей понял, что переборщил, но было уже поздно. Свое раздражение А.А. не поборол даже на экзамене, где он изрядно погонял Сергея, прежде чем поставил ему (кажется) четверку.

Но вот и учеба, и выпускные экзамены остались позади. Последнее, что еще раз собралось вместе мужскую половину курса, – это военные сборы, необходимые для получения звания офицеров запаса. На сей раз они проходили в лагерях у г. Гороховец Владимирской области. Мы с Сергеем были в одном отделении. Есть фотография, где все мы вместе сняты на фоне нашей палатки. У нас обоих на гимнастерках университетские значки. Почти половины этого нашего отделения сейчас уже нет в живых...

Наше распределение на работу осуществилось так, как мы оба для себя желали, исходя из наших научных интересов. Сергей как начинающий палеоботаник попал в ГИН под начало М.Ф. Нейбург, а я – в ПИН, в лабораторию проф. И.А. Ефремова, который работал в ней тогда последние дни (после ухода его заменил Л.П. Татаинов).

Насколько я помню из тогдашних рассказов Сергея, ему в этот период пришлось нелегко. Мария Фридриховна была очень требовательным и строгим человеком, так что у ее молодого ла-



Катя и Софья Михайловна Мейен (середина 1960-х)

боранта, при всей его собранности и работоспособности, оставалось предельно мало времени на собственные исследования. О характере Нейбургя, наверное, вполне могу судить по некоторым ее пометкам на личном экземпляре «Тафономии» Ефремова (позднее переданным мне Сергеем в обмен на книгу акад. В.Л. Комарова «О жизни растений»).

Я не помню, какие изменения произошли в лаборатории палеоботаники после трагической гибели Марии Фридриховны, но так или иначе у Сергея вскоре появилось гораздо больше свободы действий, чем прежде. В его жизни начался этап интенсивной и разносторонней творческой деятельности, который уже не прекращался до его последних дней. В какие-то невероятно короткие сроки он написал свою кандидатскую диссертацию. Далее, как он тогда сказал, он собирается отложить ее на время. Пусть себе вылежится, а потом он посмотрит на ее текст другими глазами. Этому можно было только позавидовать. Это действительно самый разумный подход к работе над собственными рукописями, но он требует большой организованности. (Мне, например, редко удается закончить работу раньше, чем истекло отведенное на нее время).

Далее наступило время, о котором я могу вспомнить немного, если говорить о научной стороне нашего общения. Работая в разных учреждениях и занимаясь достаточно далекими проблемами, мы обычно встречались либо на научных конференциях и защитах диссертаций, либо более или менее случайно в одном из двух наших институтов. В числе наиболее ярких впе-

чатлений в этом ряду я вспоминаю участие Сергея в качестве переводчика на докладе американского орнитолога Эрнста Майра, одного из главных авторитетов синтетической теории эволюции. Это выступление происходило в круглом зале старого Палеонтологического музея на Ленинском проспекте.

Отдельно хочу вспомнить о нашем совместном с Сергеем участии в докторской защите сыктывкарского геолога, саратовского уроженца, Василия Ивановича Чалышева в начале 1970-х годов. Это был самоотверженный и упорный исследователь, внесший огромный вклад в изучение пермотриаса Тимано-Североуральского региона. Он настойчиво продолжал свои полевые изыскания, не обращая

внимания на развивавшийся у него эндоартериит. Кончилось тем, что он лишился ноги, а во время подготовки им докторской защиты (по двум монографиям) под большой угрозой была уже и вторая. Защита была намечена в Свердловском университете; но возможность ее проведения зависела от того, сумеет ли Василий Иванович найти оппонентов в предельно короткие сроки. Он обратился за помощью к нам с Сергеем, а также к своему земляку и моему ныне покойному другу Виталию Георгиевичу Очеу из Саратовского университета. Конечно, мы все решили поддержать нашего коллегу. И вскоре, подготовив отзывы с предельно смягченными на всякий случай замечаниями, мы вылетели в Свердловск.

Помню, как, гуляя втроем по заснеженному городу в день перед защитой, мы пошли взглянуть на снесенный ныне дом Ипатьева, где была расстреляна царская семья. При переходе через трамвайные пути Сергей, как и все мы, шутил, что сейчас мы должны сдуть друг с друга пылинки. Потому что если что случится, то Васе уже не набрать второй команды оппонентов. Но все прошло хорошо. Там, в Свердловске, я лишний раз мог увидеть, насколько многообразны научные интересы Сергея, определяющие круг его контактов. На карте геологических учреждений страны Свердловск (снова ставший теперь Екатеринбург) не принадлежит к ведущим стратиграфическим центрам; здесь, говоря местным языком, среди геологов преобладают «рудари», то есть специалисты по изверженным породам. Но и среди них у Сергея нашелся коллега, с которым его связывали общие интересы. Помню,

как он, созвонившись с этим молодым человеком, обсуждал с ним затем вопросы генезиса каких-то месторождений.

И все-таки главное, что осталось в памяти от 1960–70-х годов, это наши домашние встречи. В эти годы Сергей с Ритой, наконец, перебрались в отдельную квартиру – в длинной пятиэтажке на Речном вокзале (кажется, ее получила мама Риты²). У них подрастала дочка Катя. Бывая в их доме, я, однако, не ощущал, чтобы что-то особенно изменилось в сравнении с нашими студенческими годами. Иногда и они бывали у нас дома (однажды вместе с Катей); но, пожалуй, чаще мы с женой приходили к ним в гости на день рождения Сергея. Остальной приглашенный народ, собиравшийся за столом, был нам по большей части знаком. В основном это были наши коллеги из обоих институтов, иногда знакомые Сергея из редакции журнала «Знание – сила», где он часто тогда печатался, реже кто-то из приезжих.

Разговоры за столом особенно не отличались от тех, что обычно можно услышать в таких случаях; но Сергея всегда было интересно слушать, так как у него была заостренная и афористичная манера речи. Если в конце вечера были танцы (а иногда и без этого), Сергей ставил на свой катушечный магнитофон «Астра» какие-нибудь музыкальные записи. Из того, что я помню, могу назвать только предвоенные танцевальные мелодии из тех, что еще сохраняли свою популярность в начале 1960-х годов, например, фокстроты Цфасмана или танго «Дождь идет». Сергею эта музыка явно нравилась. И мне тоже, так как навевала ностальгические воспоминания, связанные с геодезической практикой после первого курса (там эти мелодии слышались каждый вечер из лагерного репродуктора).

Добавлю еще несколько обобщений или наблюдений, не обязательно связанных между собой. Сергей был честолюбивым человеком, и, конечно, для этого у него были все основания. Из стиля его мышления, из его выступлений и просто из трудно объяснимых деталей у меня сложилось представление о нем как о совершенной, идеально гармонизированной системе, созданной для научного познания. Он был предельно сконцентрирован на каждой выполняемой задаче. Например, когда нужно было изучить новый язык (я уже забыл какой), он неотступно и методично делал все необходимое, пока не добился результата. Помню, сидя рядом с ним на каком-то редакционном заседании, я мог наблюдать,

как он просматривает рукопись. У него были длинные тонкие пальцы, и то, как бережно и аккуратно он перелистывал ими страницы, и как сосредоточенно вникал в смысл прочитанного, уже само по себе подтверждало ощущение, о котором сказано выше. Такая оптимизация личности на какой-то род деятельности, конечно, всегда связана с определенными потерями. В школьные годы Сергей играл на виолончели и, наверное, мог бы многого достичь на этом пути, но это так и не получило продолжения. Он был очень неприхотлив к еде. Помню по его рассказам, как во время какой-то конференции в Сыктывкаре он завтракал булочкой, которую запивал водой из-под крана.

Где-то в конце 1970-х годов наши контакты с Сергеем стали редкими, если не прекратились совсем. В моей жизни это был трудный период, связанный с руководством Палеонтологическим музеем и закончившийся моим уходом с поста заведующего весной 1981 года; в это время у меня вообще было мало желания общаться. После этого я, наконец, смог вернуться к отложенным мною теоретическим исследованиям, и это обстоятельство, в конечном счете, привело к кратковременному оживлению нашего общения с Сергеем. Уже трудно вспомнить, когда мы виделись последний раз. Видимо, это было не позднее 1985 года.

О последних годах жизни Сергея, когда он был уже болен, расскажут другие. Я только кратко скажу о том, что осталось в памяти. Все началось с плохих анализов. После этого или одновременно появились неблагоприятные симптомы, и встал вопрос о госпитализации. Рита сообщила мне об этом по телефону, и мы договорились встретиться близ Крымского моста. Она была очень встревожена, и ее одолевали дурные предчувствия. Я пытался ее как-то успокоить, но сам понимал, что это мало поможет.

Дальше были еще многие месяцы, когда неопределенность сменялась ухудшением или наоборот, но все неуклонно шло к своему завершению. Не помню, кто мне сообщил о кончине Сергея. В церкви, где его отпевали, а затем и на похоронах собралось огромное множество людей – его коллег, учеников и многочисленных последователей, для которых он был непререкаемым авторитетом.

Это был выдающийся энциклопедический ум, охвативший своим видением самые разные области естествознания и стремившийся найти в них общие законы материального мира. Мы уже не узнаем, каких вершин он мог бы достичь, если бы его жизнь не оборвалась так рано.

² В действительности, получил квартиру ее отчим. С.В. Мейен переехал жить туда на правах примака (Ред.).

Р.Г. Баранцев

Память о нем озарена особым светом, ибо дружба наша выдержала испытание судным перепадом: от вершин, где повисают восторги, до глубин, где кончается понимание.

Начало было сугубо деловым: после смерти А.А. Любичева оба занялись его архивом. Я командовал разборкой, а Сергей продвигал публикации, преодолевая идеологические и бюрократические барьеры. Стиль нашей переписки того периода он охарактеризовал так: «Лаконично, строго, без лишнего трепя и картонных эмоций, но и не сухо».

Постепенно происходило душевное и духовное сближение. В начале 1975 года «вы» сменилось на «ты», а имена стали обходиться без отчеств. «За 7 лет мы здорово срослись», – признавался Сергей (письмо от 29.12.1978). «Понимание главного – из того, что нас объединяет», – соглашался я (письмо от 11.02.1979). Бывая в Москве, я приходил к нему в ГИН, и мы часами сидели в его комнатухе, заваленной книгами, беседа не только о делах.

В своей области науки, палеоботанике, С.В. Мейен был ведущим ученым мирового уровня. Международное признание пришло раньше академических званий, которые его так и не догнали. Он был озабочен не карьерой, а подлинной наукой в том смысле, где истина сливается с красотой и благом в целостность культуры. «Наиболее глубокая современная наука неожиданно находит в окружающем мире те основания, которые были ясны духоносным людям много веков назад», – записал он в своей тетради 12 мая 1979 года.

В то же время Сергей понимал ограниченность научного подхода: «Наука с годами становится все образованнее, но не становится умнее» (запись от 20.07.1980). «Я глубоко убежден, что если следующий век не будет веком возрождающейся нравственности, то человечеству хана, – заявляет он в письме к Д.А. Гранину от 11.07.1984. – Наука не способна вывести из экологической трясины, выправить деформированные ценности. Правда, наука может помочь разобраться во всем этом, так как она выработала отнюдь не плохие нормы подобного разбора. Правда, здесь наука скорее уже обращается в философию».

А.А. Гангнус

Приходилось наклоняться, даже становиться на колени возле постели, на которой он лежал. Чтоб услышать шелест слов умирающего. Сере-

В статье «Принцип сочувствия», вышедшей в 1977 году («Пути в незнаемое», сб. 13, с. 401–430) С.В. Мейен ставит важнейшие вопросы экологии человека на пути к созданию ноосферы. Провозглашая принципиальную значимость сочувствия (соинтуиции), он отмечает, что «интуитивные представления нельзя отвергнуть с помощью математических доказательств». На первом месте должно быть не желание переубедить оппонента, а стремление понять его.

Один из центральных тезисов С.В. Мейена: «Не существует научной идеи, ради утверждения которой можно пожертвовать достоинством хотя бы одного человека». В то же время озабоченность собственным достоинством он считал опасной тенденцией, полагая, что она незаметно может переходить в потакание гордыне. В моих действиях, направленных на сохранение достоинства в кризисной ситуации, он увидел признаки опасного духовного заболевания и, пытаясь спасти меня от греха гордыни, написал пронзительное, обжигающее письмо, полное заботы и сострадания. А я не смог тогда уразуметь, почему понятие человеческого достоинства он готов «вычеркнуть из этического словаря». Теперь-то догадываюсь, что такой проблемы для него не существовало как раз потому, что чувство это было присуще ему от природы, закодированное в причудливом сочетании немецких, польских и русских генов, и не нуждалось в обсуждении. Столкновение интуиций приостановило, но не прервало наших дружеских отношений.

«XXI век видится мне темным, жутким. Надо успеть больше оставить им добра», – писал Сергей в письме от 29.12.1978. И спешил сеять зерна светлой парадигмы в своих книгах, статьях, лекциях. Последние годы он работал, сражаясь с наступающей болезнью. Английское издание своих «Основ палеоботаники» Сергей увидел за час до смерти. Но главную книгу, названную в мечтах «Триумф и трагедия человеческого духа», он написать не успел.

За два месяца до конца Сергей попрощался со мной слабым движением левой руки (правой уже не владел) и, извиняясь за ранний уход, ободряюще улыбнулся.

жа явно обрадовался нашему приходу – ведь мы давно не виделись, и, как мне кажется, не по моей вине.

Сон об эволюции

В 1980-е годы жизнь разворачивалась как-то так, что между нами появилась недосказанность. Это было связано, видимо, и с его деятельностью в последние годы его жизни. Он оказался в центре компании, которая, как добродушно, но и без одобрения выражался Игорь Крылов³, «развлекалась тем, что дергала Дарвина за бороду».

Попытки объясниться с обеих сторон были. Ведь Сережа неоднократно подчеркивал, сколь важным для него этапом именно в его деятельности теоретика-эволюциониста было мое появление в ГИНе в начале 1967 года в качестве «змея-искусителя» от журналистики. Не сразу, с какой-то поначалу робостью Сергей согласился стать автором «Знание – сила», который я представлял и в котором неуклонно строил нечто тогда новое: отдел наук о Земле. Мейену предназначалась роль одного из краеугольных камней в этой стройке. Конечно, он боялся возможных обвинений со стороны коллег – и сторонников и противников – в профанации науки, в «дешевом пиаре», как сейчас бы сказали. Но – решился. И это с самого начала носило характер восстания.

Он уже начал что-то писать (первую статью — вместе с Инной Добрускиной⁴), осмелел и пошел со мной по институтским единомышленникам уговаривать их составить ему компанию в этом рискованном предприятии. Он познакомил меня с необыкновенно обаятельным, каким-то уютным и домашним Игорем Крыловым, сам изложил, зачем я в институте и чего я хочу, и вдруг необычайно страстно и энергично воззвал:

– Давай, Игорь, решайся. Я уже. Ты же понимаешь, тут мы можем сказать все, что думаем. Саша гарантирует... А так, с этими заградотрядами рецензентов проваландаемся, пока сами не прокиснем и не станем, как они... Ведь они из-под себя не будут пускать до последнего... (Передаю, разумеется, решительный смысл и хлесткий, мейеновский тон сказанного, без гарантии дословности).

Получив после первых же публикаций 1967–68 годов широчайший отклик, как от коллег-палеонтологов, так и целого сообщества «разгне-

ванных молодых людей», в основном кандидатов наук из самых разных областей знания, по самым разным причинам не удовлетворенных карьерно и идеологически, Мейен быстро начал ощущать себя лидером этого сообщества, что, в свою очередь, определило приоритеты его философской и биолого-общетеоретической, науковедческой деятельности, пожалуй, до конца его жизни. Он всей душой желал и меня видеть в толпе этих приближенных, в вихре каких-то семинаров и симпозиумов, устремленных помимо «дерганья Дарвина за бороду» к каким-то системным обобщениям, несущим в себе зерно бунта против официального «идеологического» советского дарвинизма, но, пожалуй, со временем все более за реабилитацию креационизма. Это выражалось всяко. Вдруг однажды он предложил нам с Люсей... повенчаться (у нас уже было двое детей). Мою заминку с ответом он истолковал было по-своему: мол, ясно, тебе, совжурналисту это повредить может, так я гарантирую, священник будет проверенный, наш, из настоящих ученых и интеллигентов. Боясь его, искренне верующего, обидеть, я отвечал шутливо-уклончиво, может быть, напрасно. Для меня, безрелигиозного потомка двух бабок-социалисток и двух дедов-социалистов, прекрасно знавших мир церкви изнутри (прадеды были поповского звания), задолго до революции выстрадавших (дед был в ссылке, бабка сидела в Петропавловской крепости) свое право на вольномыслие, свирепость совласти по отношению к «поповщине» хоть и была столь же отвратительной, как и коллективизация и ГУЛАГ, конкретно в случае как венчания, так и естественных наук в самой основе ровно ничего не меняла. Официальный большевистский атеизм для меня давно был формой религии, непримиримой к иным верованиям, как к конкурентам [что в конце концов и вылилось в мою публикацию о соцреализме в «Новом мире» в 1988 году (№9)]. «Попытки синтеза» церковно-библейского и свободного естественно-научного взгляда на природу я воспринимал всегда, скорее, как шаги от науки. И если в устах Мейена (и пока я был его редактором) такого рода «синтез» не шел дальше энергичной и часто результативной попытки извлечь пользу для той же науки из построений таких талантливых идеалистов, как Вернадский, Берг, Любищев, де Шарден, Дриш, то где-то рядом с Мейеном все более происходило и нечто совсем иное. И хотя в каждом конкретном случае моих претензий к этим «издержкам» Мейен всегда соглашался, что не все благополучно в его стане, он всякий раз смущенно то-ропился перевести разговор на другое. Впрочем, однажды он все же как бы в ответ повинился:

³ Игорь Николаевич Крылов (1932–1990) – известный геолог и палеонтолог, сотрудник Геологического института РАН, друг С.В. Мейена (Ред.).

⁴ Инна Андреевна Добрускина (1933–2014) – известный стратиграф и палеоботаник, сотрудница Геологического института РАН, в 1964–1989 годах сотрудница Геологического института РАН, близкая знакомая С.В. Мейена. Под его влиянием начала заниматься палеоботаникой. Отношения их эволюционировали от дружеских, «почти любовных» вначале до откровенно неприязненных к началу 1980-х (Ред.).

– Знаешь, мне такой сон приснился, неспроста, наверное. Будто крутит Н. (один из ретивого нового окружения Мейена, наиболее настойчиво дергавший корифея теории эволюции за бороду) ручку мясорубки. А из мясорубки лезет такая... каша, без структуры и смысла. А Н. и говорит будто бы мне: «Вот видишь, никакой эволюции-то и не было!». Раз такой сон приснился, видно, совесть моя заговорила. Ты прав, что-то там у нас не так. Я подумаю, надо это все скорректировать.

Разговор меня ужасно обрадовал, но из него ничего не проистекло.

Не дождавшись, я сам выступил в печати (это было уже в 1980-х) с рядом статей против полководья антидарвинизма, расцветшего с опорой на – увы – отредактированные мной некогда работы Мейена и даже на мои собственные книги, написанные под его влиянием и им одобренные. Примирительный мейеновский «принцип сочувствия» и пропагандируемый им «новый синтез» огромный уже отряд безграмотных и (или) недобросовестных невежд от науки и журналистики с ликованием интерпретировал не только как исторический крах теории эволюции, но и как сигнал для перехода к новой «биологии», основанной на биополе, телепатии и телекинезе. На страницах печати функционеры Союза писателей и Академии наук открывали «тайны» мира махатм, то ли пассажиров, то ли пилотов летающих тарелок (чуть копнув, я быстро обнаружил, что за этим стоит интерес, к примеру, партбюро Союза писателей к созданию Дома творчества для «элиты советской литературы» в Кулу, в усадьбе Рерихов, и в Эсалене – «институте» в Калифорнии, занятом реинкарнацией и путешествиями сознания в космосе и во времени под влиянием ЛСД и массового гипноза.) Все это было закономерно (близилась перестройка), многие ясные умы смутились. Поток жизни выпадал из терявших жесткие очертания берегов, надо было учиться рулить самим, в разные стороны, каждому – своей лодкой, и это было мучительно не только из-за приближавшегося всеобщего ограбления и массового обнищания.

Что позволено гению...

Со мной было все ясно и просто: часть знакомых перестала быть таковыми, и это была та часть, о которой не стоило жалеть. Мейену же, по-видимому, пришлось объясняться с приближенными «системщиками», внушавшими Сергею, что во главе с ним они еще одним усилием коллективной мысли вот-вот построят новую супернауку, куда номогенез Берга и Любичева, кое-что из обрезанного дарвинизма, вдохновен-

ная телеология де Шардена, откровения отцов церкви и последние «достижения» шаманов и филиппинских хилеров войдут, как кирпичики. Некоторые из них, и раньше-то чувявшие во мне чужака, теперь воспринимали мои залпы со страниц «Литературки» при позднем Чаковском достаточно болезненно. Иногда я чувствовал неодобрение Сергея моей активности (оно выражалось исключительно в старании не упоминать каких-то моих статей). Иногда – одобрение и даже солидарность. В те годы он по крайней мере дважды явно выступил на моей стороне. Один раз, когда я рассказал ему, как мне совершенно случайно попала на рецензию рукопись научно-популярной книги двух кандидатов наук, геологов из ВСЕГЕИ. Ребятам не повезло. Я сразу опознал в том «сочинении» огромные цельно-стянутые куски из моей опубликованной книжки, а также из переводной книги японских геофизиков Такеучи и Уэда (под видом собственного научного глубокомыслия). Сергей хорошо знал тогдашнего директора ВСЕГЕИ и при случае по-товарищески обратил его внимание на внеслужебное пиратство его подчиненных. Приехав из Ленинграда, он грустно сообщил мне, что, наверное, напрасно трепыхается со своим «принципом сочувствия». «Друг и единомышленник» Сергея чрезвычайно нелестно и резко отозвался... о моей персоне. «Вот гад, не дал моим ребятам заработать», – сказал он в мой адрес, и все попытки Мейена объяснить, что существуют законы порядочности да и просто авторское право, не нашли в «единомышленнике» – большом русском патриоте (со столь же «нерусской» фамилией, как у меня и Мейена⁵) и академическом бонзе – ни малейшего понимания.

В другой раз Сергей позвонил мне и сообщил, что упомянутый мной в «Литературке» друг махатм и экстрасенсов, член-корреспондент, в большом академическом собрании, когда ему задали вопрос о его отношении к экстрасенсам и моей статье, во всеуслышание обратил внимание присутствующих на нерусское звучание фамилии Гангнус и дал понять, что это все объясняет: просто вот такой заговор инородцев против истинно русской науки. И собрание это проглотило! В тот раз мне показалось, что Мейен разъярен не на шутку (это бывало редко), ведь и ему прежде приходилось отдуваться за нерусскую фамилию (кстати, мы тогда нашли, что наши фамилии очень похожего франко-германо-голландского происхождения, что позднее отчас-

⁵ Речь идет об академике РАН (тогда – члене-корреспонденте АН СССР) А.И. Жамойде (Ред.).

ти подтвердилось), да и черный рецензент ВАК⁶ чуть не на два года задержал утверждение его докторской диссертации за «низкопоклонство перед Западом» – число западных палеоботаников, цитированных эрудитом Мейеном, в строгом соответствии с истинным удельным весом их трудов, сильно превосходило число «русских ссылок».

И все же факт остается фактом. От былых тесно-дружеских отношений, семьями, оставалось мало. Это во все большей мере зависело от супруги, а она, как я понимаю, без применения «принципа сочувствия» отнеслась к нашим расхождениям. От команды «системщиков»⁷, объявивших Мейена своим «гуру», он, правда, вскоре тоже сильно отдалился, чему я порадовался, но тут уже дело, как я теперь понимаю, было особое. Сергей понял, что очень болен. И заторопился. В палеоботанике и стратиграфии, где он был поистине велик (и где мало кто мог быть с ним в диалоге и содружестве) надо было сделать последний рывок. Стало не до меронов и не до типологии. И он оказался прав. Сетования былых соратников, что без Мейена некому развивать «учение о меронах» и «типологию», сами себя опровергают. Так не бывает. Истинные открытия носят в воздухе, их всегда есть, кому подхватить, и если те, кому эти мероны и типология нужны позарез (иначе их потуги оправдать нечем), никак не смогли развить озарение своего вождя, значит, ничего уж такого там и не было.

Оговорюсь. Я не считаю, что Сергей вовсе зря связался с «системщиками», тратил время на «мероны» и «типологию». Так же, как не зря Гёте опровергал ньютоновское учение о свете, а Ньютон тратил основные силы души на создание истинной теологии. Такой у них, гениев, был путь познания, он был им нужен, как мостки к тому, за что мы их сейчас ценим. Без «меронов» не было бы, возможно, колоссального рывка Сергея в палеоботанике, но это ровно ничего не сулит сегодня эпигонам-меронщикам. Они-то – не гении.

⁶ Г.П. Радченко (Ред.).

⁷ Здесь, пожалуй, не место разъяснять, что речь идет именно о «системщиках» в кавычках. Системный, по сути, подход привел Менделеева, биологию (от Линнея до Дарвина), космологию к величайшим открытиям. Системность – не шарлатанство и не профанация, если она не отрывается от принципа развития, эволюции, если она – не вместо, а вместе. И у меня, в годы моей вылазки в сейсмологию, тоже была своя типология механизмов землетрясений... Пример борьбы этих разных подходов к системности – взгляды плоских продолжателей Соссюра, с одной стороны, и Сулейменова, с другой, в случае генезиса слова.

В конце тоннеля

Я понял, что Рита позвонила и позвала нас к Сергею (фактически прощаться) по его прямой просьбе. У нас с ним с первого дня знакомства, с весны 1967 года, был установлен какой-то афористично-шутливый стиль разговоров, примерно как у персонажей фильма Ромма «9 дней одного года». И было поразительно, что Сергей, еле произносящий слова, ни разу не сбился с этого стиля и во время того, последнего нашего разговора и, возможно, того же ждал и от меня, но вряд ли я, потрясенный его видом и состоянием, мог тогда соответствовать этому ожиданию. Сергей торопился сказать побольше, пока хватит сил, и успел сказать многое. Что вышел учебник по палеоботанике (обрезанный) в «Недрах». Он мне его собственноручно надписал (чаще тогда писала Рита под его диктовку, а он только подписывал). И что вот-вот он будет в полном виде на английском (кажется, книга пришла на другой день, но тогда он уже не вполне осознал этот факт). И вдруг заговорил... о моих публикациях в «Литературке». И о модной тогда теме «жизни после смерти», о пресловутом «свете в конце тоннеля». И без малейшего «шаманства», с какой-то даже поразительной трезвостью и четкостью понимания.

– Я в этом тоннеле теперь по целым дням. Тоннель гигантский, сотни метров в поперечнике, уходящий вперед и назад в бесконечность. Освещен ярко (неясно, чем) там, где я, и темнеющий вдаль. Там, в конце..., нет, ничего там не видно, да меня туда и не тянет. Иногда – такая выемка вроде, в земле, знаешь, какие под шоссе роют, не помню название. Я не иду, не стою, а как бы плыву, меня влечет. При этом нет ни желаний, ни любопытства. Просто думаю: сейчас – туда, и плыву туда. Встречаются люди... Странные какие-то. Живые, но меня не видят. Животные попадают. Я сам себя, тело – вижу, но смутно – плечо еще различаю, руку еле-еле, а ног уже, вроде, и нет. Деревья, трава, кусты. Ручей. Стенки тоннеля или выемки – будто пришлифованные, с окаменелостями. И микроскопа никакого не надо: достаточно простого приближения к стенке, чтобы увидеть микростроение (половину жизни Сергей просидел за биноклем. – А.Г.). Сейчас мне интересно вспоминать, но там было безразлично, хотя богатство форм необычайное. И еще: если я не плыву вдоль стенки, то сама стенка – плывет, как лента, перед глазами, все новые микроструктуры, с потрясающей отчетливостью. Какие спорангии и кутикулы я там вижу! Иногда меня несет на какой-нибудь выступ над ручьем, вот-вот стукнусь, но я спокоен. Меня подносит к самой стенке, вижу все с ог-

ромным увеличением, но это как мираж, меня пронесит сквозь этот видимый слой, а там – новый коридор, где стены из геологических карт. Их много, очень подробные, великолепно исполненные. Я такие, пожалуй, только в Германии и видел. И опять – сейчас, здесь хочется взглянуть, а тогда, там – все равно. (Записано мной через пару дней после той встречи, запись только что нашел после долгих поисков. – А.Г.).

Увидев изумление в моих глазах и невысказанный вопрос, усмехнулся.

– Это морфий, – объяснил он. – Видимо, «тоннель» у всех бывает, кто на больших дозах... Такая форма изменения сознания.

(Потом, пройдя сам через полный наркоз при операции, я побывал в подобном тоннеле и еще раз оценил степень научной точности и четкости естествоиспытателя Мейена, в этом вопросе ока-

завшегося – перед лицом смерти – на голову выше врачей-профессионалов, растрезвонивших весть о «тоннеле» в совершенно ином духе...).

О своей болезни (рак в последней стадии) говорил много и еще несколько раз поразил меня продуманностью формулировок. Потом я осознал, что он говорил со мной не только как с приятелем, но и как с научным журналистом – вдруг для дела пригодится. Впрочем, он так и сказал: «Тебе пригодится». Вот, пригодилось... А дело превыше всего.

Но вдруг из совершенно случайной как будто фразы я понял, что он, хоть и прощается, но – так, на всякий случай. Свои шансы он оценивал... не помню точно названной им цифры, но не менее чем 50 на 50... Признаться, я с ужасом осознал, что моя внутренняя оценка этой чудовищной вероятности гораздо ближе к ста...

Ю.В. Чайковский

Познакомились мы с ним поздно – всего за 12 лет до его кончины, так что я застал мало из того, чем он был известен в молодости. О его музыкальном образовании (виолончель), увлечении танцами (чарльстон) и итальянскими фильмами узнал я лишь из воспоминаний в сборнике его памяти; в поле он ездил при мне всего раз, ненадолго и без всякой радости (просто надо было увидеть своими глазами еще один разрез); и восходящей звездой его давно не считали – к сорока годам он был уже классиком. Долгое время мне и в голову не приходило, что он может интересоваться религией, искусством или прекрасным полом. Вообще, при всей готовности помочь и внешней открытости, он пускал в свой внутренний мир скупое. И правильно делал.

Как-то Юрий Анатольевич Шрейдер, математик и философ, рассказывал за чашкой чая о Любимцеве и на мое замечание, что есть вот в русле тех же идей интересный эволюционист Мейен, откликнулся репликой: «Да он же ваш сосед! Живет в вашем квартале». Вскоре он пригласил меня на его доклад. Так, в апреле в 1975 года, я впервые попал в Институт философии на Волхонке, где увидел и услышал Сергея Викторовича.

Говорил он о том, что в теории эволюции следует допустить к рассмотрению все воззрения, а не только дарвинизм. По тем временам это было смело (ведь дарвинизм был частью партийной идеологии, а она не терпела альтернатив), Мейен говорил очень аккуратно, чтобы никого лично не задеть, и мне по наивности показалось, что он предлагает попросту улучшить дарвинизм. Поэтому в моем сумбурном выступлении главной мыслью был тот тезис, что хороши все теории

мирознания, что-то говорящие о мире, но не мифы вроде «земли на трех китах». Они не говорят о мире ничего, их включать в число альтернатив познания не стоит, и к ним как раз относится нынешний дарвинизм. В ответ один философ физики ответил внешне мирно, а по сути зло, что все это верно «с точностью до наоборот», то есть именно выступающего (меня) и надо игнорировать – как желающего возродить «землю на трех китах».

Было обидно – из-за моей несдержанности, так глупо контрастировавшей с изящным докладом, Мейен конечно сочтет меня «чайником» и не воспримет всерьез. Каково же было мое удивление, когда он сам пригласил меня зайти к нему, поскольку де мы соседи. А ведь кроме моей выходки да слов Шрейдера, он не знал обо мне ничего. И вот 1 мая мы встретились.

Помню, как мы с женой Риммой обсуждали – поздравлять ли Мейена с Первомаем. Римма посоветовала мне на всякий случай вопрос обойти – как бы не было конфуза. С.В. вышел ко мне на улицу (быть может, дома готовили застолье), и мы часа два гуляли по кварталу у метро «Речной вокзал». Он был тогда генеральным секретарем Международного конгресса по геологии и стратиграфии карбона и с увлечением рассказывал, как готовит конгресс, обходя препоны, то и дело выставляемые органами партии и госбезопасности. Мне оставалось лишь изумляться – как он все это выносит, да еще с иронией.

На мое изумление он ответил просто и спокойно (чем изумил меня еще больше): да, три года для науки почти потеряны, но за это лаборатория получила оборудование, и удалось даже



С.В. Мейен на экскурсии по разрезам Подмосковского бассейна, организованной для участников VIII Международного конгресса по стратиграфии и геологии карбона (1975)

взять еврея в штат института. И еще: поскольку урывками работать с образцами невозможно, он использует просветы во времени для чтения, и прочел наконец-то старых натурфилософов и просто философов.

После этого я решился рассказать о наших сомнениях насчет поздравления, и С.В. рассмеялся весело: неужто он похож на любителя Советской власти? (В последующих беседах он величал ее Софьей Власьевной и радовался шутке незамысловатой: «старухе пора на пенсию». Позже с восторгом рассказал мне анекдот: грузин просит у друзей барана для свадьбы, каждый советует обратиться к другому, и грузин взрывается: «Пачему все дают совет, никто нэ дает баран?»; «А ты гдэ живешь – в странэ Советов или в странэ баранов?»)

Мне тогда было решительно не с кем обсудить то, чем я занимался – как устроено разнообра-

зие одноклеточных и чем можно заменить нелепую «теорию» симбиогенеза. Меня занимала новая идея «горизонтального переноса генов», то есть обмена генами вне процедуры размножения. Обсуждать это Мейен тогда, на первомайской прогулке, не стал, зато (опять к моему изумлению) предложил мне дать ему на прочтение мою рукопись на сей счет. Прочел очень быстро, опять мы гуляли по кварталу в выходной день, и он снова меня ошеломил: «По большому счету вы держитесь как раз за то старое, с чем пытаетесь спорить».

По его мнению, те сходства митохондрий и хлоропластов с бактериями, на которых построена идея симбиогенеза, основаны вовсе не на обмене генами, а носят типологический характер (другими словами: сходства не унаследованы от общего предка, а вызваны общими законами формы). Сам он не занимался бактериями, но ря-

ды сходств видел повсюду и предлагал объяснять их общим законом формы, а не обилием случайных актов горизонтального переноса. Правоту С.В. я уяснил себе много позже. Вообще же он стал моим учителем, хоть и был старше меня всего на четыре года.

Вскоре Мейена пригласили на зимнюю школу по теоретической биологии для студентов биофака МГУ, а он рекомендовал пригласить и меня. Школа была в поселке Борок Ярославской области, в январе.

Выйдя из вагона в пять утра на тридцатиградусный мороз в осенних пальто, мы тут же стали замерзать. Когда подали автобус, все мы бросились к нему, но Мейена все, конечно же, пропустили вперед. Только устроитель (милейший человек и блестящий организатор), сам изрядно замерзший, загородил нам путь со словами: «Тут есть постарше вас. Проходите, Алексей Мер-

курьевич». А.М. Гиляров, совсем молодой кандидат наук, был сыном академика-секретаря Меркурия Сергеевича Гилярова.

Препираться на морозе было бы глупо, и Меркурьич, как бы ничего не заметив, быстро поднялся в автобус, затем мы, лекторы, за нами толпа студентов. Мейен тоже как бы ничего не заметил. Войдя в гостиницу, мы стали в ожидании регистрации читать программу школы на стенде, и тут С.В. учинил «страшную месть». Отвел устроителя в сторонку и сказал тихо: «Исправьте, пожалуйста, я не кандидат биологических, а доктор геолого-минералогических». Устроитель чуть не умер.

Мы все быстро подружились, и когда устроитель сделал доклад, а я поднял руку, чтобы задать вопрос, Мейен одернул меня, ошибочно полагая, что я скажу гадость. (Слова С.В., из лексикона царской семинарии, привести нельзя.) Позже он пробовал устроить устроителя на хорошую работу, а вскоре сам устроитель учредил свой семинар и открыть его предоставил Мейену. Еще много позже он организовал вечер, увы, памяти Мейена, где доклад предоставил мне.

Зимняя школа в Борке – одно из лучших воспоминаний моей жизни. О ней писали, и я ограничусь эпизодом. Биохимик С.Э. Шноль, дремучий дарвинист, в своей лекции уверял, что генетика – основа всей биологии, а С.В. в реплике с места недоумевал: как в терминах генетики описать ловлю кошками мышей? Шноль отвечал в запальчивости, что и это станет ясно, когда будет целиком прочтен геном кошки. Мейен промолчал, но по окончании сказал в коридоре, что ни одну из общих проблем биологии прочтение генома решить не сможет. Сейчас, через 30 лет, это начали понимать даже генетики.

Живя в одной комнате, мы с Сережей перешли на «ты», а по возвращении в Москву стали общаться семьями. Рита Мейен поразила меня своим молодым обликом (ведь она была его однокурсницей) и тихой ненавязчивой помощью во всех его делах. Моя Римма тоже мне помогала, но ведь Рита вообще бросила работу и взвалила на себя всю секретарскую деятельность, а Мейен работал, как целый институт. Да, без шутки: он с явной гордостью говорил мне, что у них в канцелярии⁸ два ящика с почтой – для него и для остального института.

Однажды в 1970-х в Коми с его аспирантки потребовали оплаты за какую-то научную услугу, Мейен пришел в ярость, взял журнал лаборатории и попросил свою бухгалтерию выставить в

Сыктывкар счет – только за заключения о возрасте, проведенные для них только им самим и только за истекший год; оттуда вскоре же пришло извинение и просьба отозвать счет как разорительный. А ведь это малая толика: были еще бесчисленные консультации, как в Москве, так и с выездами в Сыктывкар и Ухту, и знаменитые лекции Мейена для одного слушателя. Не только из Коми, а со всего Союза.

Встречались мы почему-то чаще у него, хотя нас было в трехкомнатной квартире четверо, а их в точно такой же – пятеро (когда же их дочка Катя вышла замуж и родила Петю – семеро). Как они ухитрялись жить мирно, ума не приложу, но никаких следов скандала никогда не замечал.

Сережа не ходил в магазины, это делали домочадцы. Когда в Москву прилетел его французский коллега и друг Ив Лемуань, Сережа спросил меня: что бы такое показать ему самое интересное? Я посоветовал отвести его в наш универсам у метро после работы – пусть посмотрит драку у мясного или рыбного отдела и поймет, что не политические свободы нас волнуют. Сережа только усмехался: явно счел негодным предлагать гостю «высматривать срам земли сей».

Летом 1977 года Мейены гостили у нас на даче в Отдыхе. У меня там был тайник с рукописями, и, чтобы развлечь гостей, я стал читать им вслух. Вскоре у меня началась резь в глазах (нелепая манера: писать карандашом, чтобы легче править – от нее после этого пришлось отказаться), затем отсох язык, а Сережа увлекся и просил читать еще. Чтение продолжила Римма.

Основной мой опус он отверг (ни слова не сказал по окончании, и всем все было ясно), но два поменьше, прочитанные вначале, ему понравились, и он заявил, что их надо переслать на Запад для публикации под псевдонимом. Один назывался «Декрет, которого не было» и объяснял, что большевики вовсе не даровали, как они хвастают, независимости Финляндии, что они ограничили ничего не значащим жестом, организовав в те же дни вторжение туда Красной гвардии. Другой назывался «Адмирал» и повествовал о Колчаке как героическом полярнике, талантливом адмирале и наивно-беспомощном правителе.

В январе ожидалось шестидесятилетие независимости Финляндии, и Мейен взялся, если будет машинопись, сделать микрофильм и переправить его. Рита героически смолчала, хотя понимала, конечно, чем он рискует. Сам же он убеждал нас всех, что все безопасно. К осени я перепечатал «Декрет», и Сережа с гордостью показал мне, как мал (обрезана перфорация) и хорошо читаем микрофильм. Затем то же было сделано с «Адмиралом». Один был отослан в

⁸ Речь идет о канцелярии Геологического института АН СССР (Ред.).

«Новый журнал» (США), другой в «Континент» (Париж) – какой куда, не помню. Судьба их мне осталась неизвестна, что и к лучшему: готовя их к печати в годы гласности, я понял, насколько они были сырыми.

Сережа хвастался, что, насколько помню, у него 42 племянника (считал, разумеется, не он сам, а кто-то из троюродных братьев, «спец» по этой части). И вот один из них осенью приехал из эмиграции родню проводить. Сережа дал ему «Адмирала» в полной уверенности, что тем самым отправляет его на Запад, но племянник отверг текст с негодованием – это же советский пасквиль на белого героя. Особо возмутило его мое выражение «в угасавшем уме адмирала». Сережа был смущен, но, как ученый, спросил меня, откуда мне известно психическое состояние Колчака в последние месяцы правления. Об этом писали многие, но я по наивности назвал ему мемуары французского генерала Жанена, начальника союзных войск в Сибири. Узнав это, племянник сменил ярость на презрение – всем известно, что Жанен – предатель, выдавший Колчака красным.

Мне это был хороший урок: мемуаров избегать вообще и уж во всяком случае не ссылаться на них как на источник. Пришлось перечитать все, что можно, мемуарные сведения проверить по иным текстам, слова «в угасавшем уме адмирала» убрать. Итог был замечателен: очерк приобрел некую ценность.

(«Адмирал» был выправлен и опубликован⁹, а повесть, сделанная из него и «Декрета», лежит до сих пор. Большой опус – простым карандашом по серой бумаге – теперь, полагаю, и прочесть уже невозможно. Да и ненужно. Мемуаров стараюсь не писать, и данный текст – единственное исключение.)

В начале 1980-х Мейену как минимум дважды удалось пресечь разгромные собрания. Вообще-то они после смерти Сталина в естествознании не проводились, но нападки на дарвинизм все-таки преследовались. Первое собрание бы отведено генетику Л.И. Корочкину, но само появление Мейена, которого никто не ждал (он был далек от генетики), напрочь расстроило все планы устроителей. Забавно было слушать, как они друг за другом выходят к трибуне и объясняют, что ничего против Леонида Ивановича не имеют.

Второе собрание было опаснее: героем был киевский генетик В.А. Кордюм¹⁰, а Киев – не

Москва, там уже вышли 2 рецензии погромного стиля¹¹, а по «сигналу» из Москвы его могли с работы погнать. Да и сам Виталий Арнольдович своей иронией в адрес тогдашних дарвинистов разозлил многих. (То, что он тогда писал как ересь – о роли горизонтального переноса в эволюции – сейчас общепризнано.) У меня был заготовлен текст выступления под названием «Нечитавшие критики», по окончании собрания я сделал запись впечатлений, так что здесь у меня не мемуар, а как бы изложение дневниковой записи.

Мейен не выступал, действуя своим присутствием. Председатель требовал говорить только о книге Кордюма, беря этим рецензентов под защиту. Пришлось ждать повода, и он нашелся: все дружно называли Флеминга Дженкина (критик Дарвина) Дженкинсом, и я смог начать с замечания, что все знают о нем лишь по одной безграмотной ссылке. Затем прочел из своей заготовки абзац:

«То, что делают с Дарвином наши рецензенты, поразительно. Единственное, что приходится допустить, что ни один из троих не читал Дарвина со студенческих лет, открывал его с тех пор только в поисках цитат, но каждый уверен, что суть дарвинизма знает хорошо. Это – лучшее, что я могу допустить».

Председатель предложил перейти к книге Кордюма, но я продолжил:

«То, что позже назвали мутацией, можно сопоставить с “самопроизвольной” изменчивостью у Дарвина. Неопределенной изменчивости он придавал мало значения: в девятиотомнике на нее всего 9 ссылок мимоходом, тогда как рубрика “Изменчивость” занимает в указателе три больших колонки. Ключевое значение он придавал определенной изменчивости и ей посвящал целые главы».

Председатель пригрозил лишить меня слова. Я успел еще процитировать Гершензона: «Согласно Дарвину <...> движущей силой эволюции является естественный отбор. Именно он и только он...», и сел на место в ярости. Кордюм был в восторге и шепнул мне: «Никогда не приходило в голову, что у Дарвина нет отбора случайных вариаций». Рецензент А.В. Яблоков выступал весь красный, говорил что-то бессвязное, и я попросил Мейена спросить, где он это взял. «Брось ты, ведь он же извиняется», – ответил Сережа.

* * *

О Мейене обычно пишут в стиле «Житие святого», и мне не хочется сбиться на этот путь. Се-

⁹ Чайковский Ю.В. Гранит во льдах // Вокруг света. – 1991. – №1, 2. Белогвардейская часть там сведена к минимуму.

¹⁰ Кордюм В.А. Эволюция и биосфера. – Киев: Наукова думка, 1982. – 262 с.

¹¹ Медников Б.М., Яблоков А.В.; Гершензон С.М. // Цитология и генетика. – 1984. – №1.

режа был изумителен, но именно потому, что святым не был. Он более чем любил Риту, этой любви я поражался, но однажды мне пришлось мирить их, ибо дело шло к разрыву. Ему тоже пришлось мирить меня с Риммой, но без успеха. Не потому, что он был хуже как дипломат (он был и в этом гораздо лучше меня), а потому, что мы оказались хуже, чем он и Рита.

Моя семья распалась, и мы с Сережей с конца 1979 года больше не были соседями. Сохранив контакт с Риммой, он неохотно, но согласился познакомиться с Наташей, моей новой женой, и после этого сказал мне, что от своей заочной неприязни к ней отказывается. Однажды он даже был с Ритой у нас дома, но все же отношения стали скудеть. Хоть он и сердился на меня, но это прошло, зато слабел контакт по- существу: Мейен понемногу стал понимать, что жить ему недолго, и понемногу же стал отбрасывать все лишнее, в том числе эволюцию.

Летом 1982 года он первый раз попал в больницу. Мы с ним редактировали тогда книгу Любичева, и он поделил работу так: «Ты сиди над рукописью, а по кабинетам буду ходить я». Конечно, и над рукописью он корпел больше, чем я, но главное — умело провел ее через враждебных чиновников и рецензентов. И вот корректура, а он на койке.

Указатели мы стали делать порознь, но примерно поровну, а снимать вопросы с редактором пришлось мне. Помню, как трогательно Сережа умолял меня не говорить редакторше резкостей («она такая благожелательная»), чего я, разумеется, вовсе и не собирался. И в самом деле, все было дружелюбно.

Когда-то в 1960-е годы Любичев познакомился с инструктором¹² ЦК КПСС, тот оказался вполне порядочным человеком и, чем мог, Любичеву помогал. Как-то в поезде Мейен тоже познакомился с инструктором ЦК и решил извлечь из этого пользу — написал ему про беды в науке. В частности, примерно так: «В биологии теоретики есть, но они вынуждены вести полуподпольное существование. Например, Чайковский». Вскоре меня вызвал директор института, куда недавно (в 1980 г.) меня взяли с огромным трудом, и мрачно спросил, какую я веду подпольную деятельность и с какой целью. В тот же вечер я рассказал это Сереже, мы посмеялись, и

на том все кончилось — возможно, он позвонил инструктору, и тот дал отбой. Но не всегда было столь просто и мирно.

В начале 1983 года издательство научно-популярной литературы «Знание» заключило со мной договор на книгу «По законам разнообразия». Не имея тогда возможности издать книгу в научном издательстве, многие, в том числе Мейен пользовались случаем изложить свои мысли в книгах популярных. Рецензию на мою рукопись писал Мейен, она была очень положительна и содержала фразу о том, что особую ценность представляет изложение автором спорных и даже забытых теорий. Редактор был болезненно труслив (на что, увы, имел основания) и заявил, что рецензия далеко не положительна, что она призывает к бдительности. Он направил рукопись другому рецензенту, профессорше из Тимирязевской сельхозакадемии. Та ответила почти так же, как Мейен, но добавила — не видно политического лица автора, а устно пояснила: «Можно подумывать, что автор пишет в Нью-Йорке».

Редактор потребовал унавозить текст цитатами из Маркса и Ленина, убрать или закутать в пеленки пояснений цитаты из «не наших» авторов (например, из Герберта Спенсера), а «отвергнутые» теории изъять или разоблачить. Разумеется, я отказался, и книга в свет не вышла.

Сережа был явно смущен своим промахом (редактор был ему известен, а рецензия явно повторяла ошибку письма к инструктору ЦК) и обещал «что-нибудь придумать», но не сделал ничего, и я обиделся. Теперь мы встречались только на ученых собраниях, но все же обменивались дружескими репликами. Вскоре, однако, последовало новое ухудшение.

В апреле 1985 года пожарная инспекция закрыла Библиотеку МОИП¹³ по причине аварийной перегрузки здания. Директор Библиотеки Н.В. Демьяненко просила меня помочь, чем я и занимаюсь вот уже 20 лет. Нужно было найти пустующее помещение (какое и нашлось в том же дворе), но без активного содействия Президиума МОИП получить его было невозможно, и я очень рассчитывал на помощь Мейена, там весьма влиятельного. Он хорошо знал и любил эту библиотеку, со вниманием выслушивал мои

¹² Молодым поясню: в каждом партийном органе (ЦК, обком, горком, райком) инструкторами назывались рядовые штатные сотрудники. Однако внешне инструктор был грозным начальником. Если он занимался делами института, то именовался «куратором института» и фактически мог приказывать директору, что, однако, бывало редко.

¹³ Мейен работал в МОИП с юности, а с 1975 года был членом Президиума МОИП. Библиотека расположена в здании Библиотеки МГУ на Моховой, против Манежа, и имеет фонд в полмиллиона единиц хранения. Как позже выяснилось, фонд составляет около 300 тыс.; остальное (груды оттисков, списанных другими библиотеками свезенных в Библиотеку МОИП) покойная Н.В. Демьяненко когда-то приписала к фонду в надежде повысить категорию своей библиотеки.

донесения, но помощи не предлагал, чем обидел меня снова.

(Осенью Библиотека была вновь открыта, но никакой помощи так и не получила, даже в юбилейные мероприятия 2005 года. Перегрузка возрастает¹⁴, 4 библиотекаря, даже когда все ставки заняты, обслужить огромный фонд не могут, он приходит в негодность, и никаких надежд на ее спасение у меня не осталось.)

К этому добавилось наше расхождение по вопросам службы. Сережа долго помогал А.В. Яблокову войти в Академию наук, и наконец в 1984 году тот стал членкором. Беседуя об этом с Сережей, я вдруг понял, что сам он тоже туда хочет. «Зачем тебе в эту компанию?» – спросил я удивленно, на что он спокойно ответил: «Разве я не имею права на хороший кусок мяса по пятницам?»¹⁵

Дело было, конечно, не в съестных благах (хотя тогда с ними стало еще хуже), а в служебных возможностях. Став в 33 года доктором наук, Мейен сразу ощутил преимущество статуса, который ему (в отличие от меня) был очень нужен в общении с начальством. Но эта регалия оказалась последней¹⁶, а к 50 годам ее для давления на начальство было мало. Еще в начале 1980-х он пытался получить диплом профессора (каковым фактически давно был), но внештатное чтение лекций такой возможности ему не дало (хотя другим давало), а в научном институте для этого надо защитить пятерых аспирантов и обязатель-

но быть начальником. Мейен даже согласился стать заместителем директора, но райком потребовал вступления его в партию, на чем эпопея и кончилась.

Были и другие попытки его повысить свой статус, но главное – продвинуть его в Академию, как он продвигал Яблокова, должен был кто-то другой, ибо сам он был для этого слишком принципиален. Другой не появился, и это – позор для самой Академии¹⁷. Мейен был уязвлен, а я при редких встречах только иронизировал.

К его пятидесятилетию мне удалось напечатать две статьи о нем¹⁸. В день юбилея хотел сообщить ему эту новость в виде подарка, но она так и осталась при мне – Рита отказалась позвать его к телефону («ты же знаешь, Сергей не терпит юбилеев»). Позже, весной, при встрече где-то в коридоре, на мой вопрос, читал ли он про себя, он молча наклонил голову и приставил каблук к каблуку – как бы благодаря.

С апреля 1986 года мы с Сережей не виделись, и лишь в начале ноября мне рассказали, что у него давний рак, что сейчас пошли метастазы и он едва ходит на костылях. В тот же вечер, когда он вернулся с работы (как оказалось, в последний раз), я приехал к нему на новую квартиру. Держался он (как и Рита) великолепно, и вот начался наш последний срок общения.

Статусные темы потеряли смысл, их и не было (хотя он весною возглавил лабораторию, в которой работал всю жизнь), почти не было и медицинских. Он знал о безнадежности своего состояния и порой прямо говорил об этом («Ах, Юрка, если б я знал, что мне жить год, разве стал бы я учить испанский?»), а порой не хотел верить («У меня три вида на будущее: не встать, встать на костыли и выздороветь полностью»).

То мы говорили про науку (теперь он с жадностью обсуждал эволюцию, прежде им почти забытую ради чистой палеоботаники), то про начавшуюся тогда «перестройку» (в которую мы оба простодушно верили), то его скрючивала боль, и иногда он (при всей-то его воле) начинал кричать. Анальгетики больше не действовали, надо было колоть морфий, но Рита каждый раз медлила: и ампулы в больнице давали скупой, и боялась она сделать его морфинистом (значит, тоже надеялась на выздоровление – до, примерно, середины марта). Иногда обходилось, и мы

¹⁴ Летом 2006 года вопрос с помещением для хранения был решен. Библиотека МГУ вывезла часть фонда в новое помпезное (но с ничтожным объемом хранилища) здание против Главного здания университета. Освободилось пол-яруса рядом с хранением МОИП и прошел слух, что эту площадь отдадут Библиотеке МОИП. Не имея никаких подтверждений, мы в один день заполнили своими книгами столько стеллажей, сколько смогли. Даже А.М. Оловников (позже так цинично обойденный Нобелевским комитетом), случайно зашедший, тоже возил тележки с книгами к лифту. Ни запрета, ни разрешения от ректората не последовало, и ни денег, ни штатов для обслуживания этой площади Библиотека МОИП так и не получила. Библиотека умирает, однако книги и журналы все-таки размещены (в том большую роль сыграли И.А. Игнатьев и Ю.В. Мосейчик, расставившие около полусотни стеллажей), так что можно надеяться, что они достоят до перемен к лучшему.

¹⁵ Все годы Советской власти, с 1918 года, действовала сеть закрытых распределителей, после Сталина скрывшаяся (на нижних своих ступенях) в тени «отделов заказов». Членкорам полагался еженедельный «заказ» с килограммом мяса, а также целый ряд услуг, в том числе жилищных и медицинских.

¹⁶ Из советских. Зато Мейен был вице-президентом Международной организации палеоботаников; но это, насколько знаю, на чиновников не действовало.

¹⁷ Показательно: так и не вошел в Академию А.Ф. Лосев, опальный филолог, историк и философ. Многие ждали, что на «перестроечном» собрании Академии (1986 г.) три отделения будут спорить за право ввести его в свой состав, а его даже не упомянули.

¹⁸ Знание – сила. – 1985. – №12; Вестн. АН. – 1986. – №3.

снова начинали разговор. Про болезнь он говорил мало (например, с полуулыбкой: «как страшно, оказывается, услышать слово “метастазы”, когда это относится к тебе самому»).

Понемногу стало ясно, что обещания врачей не оправдались, пришлось искать знахарей. Кто-то (кажется, Рита) дал мне телефон питерского целителя, не избегающего безнадежных раковых больных; он назначил мне встречу на 25 января и, в питерской квартире, продиктовал какой-то сложный рецепт. В тот же день я вернулся в Москву и увидел, что Сережа ждет с большой надеждой. Пока его родные покупали компоненты снадобья, мы беседовали про науку, и он оживал еще до начала курса. По-моему, это была психотерапия¹⁹ плюс обычное отступление более при начале конца, но Сережа решил, что выздоравливает. Так или иначе, но 6 марта он именно в этом духе надписал мне экземпляр только что вышедших «Основ палеоботаники». Надписал, сидя в постели, но позже насколько помню, уже не подымался. В последние встречи он еле шептал («шелестел» – говорила Рита), и собеседникам приходилось опускаться перед его изголовьем на колени. Первой, помнится, это догадалась сделать Р.С. Карпинская, вскоре тоже умершая от рака и тоже державшаяся изумительно.

Сейчас, через 18 лет, приходится вновь и вновь спрашивать себя: можно ли было иначе? Вылечить Сережу – вряд ли. А вот отношения можно было выстроить и по-другому. Не мне

судить, был ли он прав, забросив туманную натурфилософию в пользу конкретной науки: с одной стороны, этим путем он достиг максимума возможного, а с другой – этого на сегодня, вероятно, достигли бы и без него, а вот его «типологию» вряд ли кто достроит. Зато мне стоило бы понять, что он видит дальше нас и не тянуть его на свою сторону.

Не успокоил он слишком трусливого редактора? Но ведь Мейен мог лишь обезвредить свою неудачную фразу, а это вряд ли изменило бы судьбу книги. Да и ей отказ пошел только на пользу: через 5 лет на ее основе была написана более серьезная книга «Элементы эволюционной диатропики»²⁰.

Не вступился за библиотеку? Тут сложнее: тогда, на первой волне «перестройки», помещение получить было можно. Вероятно, Мейен прикинул, что в Президиуме МОИП, где все любят только разговоры, добиваться придется ему, а на это уже места не было на шагреновой коже его бюджета времени. Да и ясно нам, еще живым, что в нашу эпоху не только бы отняли добавочное помещение, но и саму библиотеку могли выбросить на улицу, как выбросили много чудесных библиотек, музеев, школ и прочего. Эпоху Мейен предвидеть не мог, зато вполне мог, зная нравы лучше, чем я, предвидеть месть обиженных²¹.

Хотел стать членкором? Но ведь, доживи он до сего дня, заведомо был бы академиком. Куда ни кинь, он всюду оказался прав.

Д.А. Гранин

Когда я работал над книгой «Эта странная жизнь» о А.А. Любищеве, я познакомился с некоторыми учениками Александра Александровича. Учениками, друзьями, единомышленниками, не знаю, как назвать, это были серьезные, успешные ученые, среди них был Сергей Викторович Мейен, палеонтолог, автор симпатичного мне «принципа сочувствия». В научных спорах, утверждал он, надо стать на сторону противника, постараться понять его доводы, сочувственное их рассмотрение поможет обоим оппонентам получить какой-то результат от спора. У Мейена была специальная работа, посвященная этому принципу.

Его занимали этические проблемы, мы тогда, в 1980-е годы горячо обсуждали их, устно и письменно, спустя двадцать с лишним лет я нашел среди бумаг копию одного моего письма к

нему, интересно, как воспринимаются те споры, отчасти это свидетельство наших поисков новых отношений между людьми.

«Дорогой Сергей Викторович!

Письмо Ваше вновь вернуло мысли к теме, давно занимающей меня, о нравственной безграмотности, как Вы выразились, об этической системе, о правилах жизни, о требованиях к человеку. Если Вы говорите о безграмотности, то начинать надо с азбуки. Азбуке обучают детей. И надо обучать с детского возраста вещам непреложным, простым – прописям, старинным прописям, которые заучивали, зазубривали вместе с азбукой. „Брать чужое нельзя!“ – „Почему это?“ – спросили при мне старого библиотекаря. Он пожал плечами: „Потому что чужое, а чужое брать

²⁰ Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. – М.: Наука, 1990. – 272 с. (Ред.).

²¹ Да и не в помещении, как теперь видно, была и осталась главная беда, а в отсутствии интереса к старым книгам со стороны высокого начальства.

¹⁹ Беседы с философом Региной Карпинской он так и называл: «регинотерапия».

нельзя”. Для него это правило было само собой разумеющееся, аксиома бытия, не требующая доказательств и обоснований, система запретов, такая же, как не врать, не бить маленьких... Все то, что должно стать внутренним законом.

Вас интересуют не эти очевидные прописи, а спорная этика, нравственные положения, которые „даются особенно трудно”. Но думаю, Вы согласитесь, что усвоение (хотя бы обучение) школьное элементарных заповедей намного облегчило бы и Вашу задачу, и вообще решение для человека многих этических задач.

Положения, которые Вы выдвигаете, чрезвычайно интересны, некоторые спорны, но я почувствовал, как все они выросли, разветвились из Вашего „принципа сочувствия”, из раздумий Ваших о том, что же такие за люди были блаженные, святые, из внимания к нетрадиционным проблемам истории религиозной жизни. Как глупо, что в своем атеистическом рвении мы не используем огромные этические богатства, накопленные религиозным воспитанием: методику, психологию, систему обучения. Вы упомянули катехизис. Недавно я смотрел катехизис 1889 года. Это было 67-е издание! Представляете себе, насколько уже сто лет назад это был отработанный школьный учебник. Вообще большинство учебников старой гимназии отшлифовывались от издания к изданию — „История” Илловайского, „Геометрия” Киселева, „Физика” Цингера. Основа сохранялась, родители и дети учились по одному и тому же учебнику, поэтому старшие понимали, участвовали в обучении. Существовала преемственность.

Дети учили те же стихи, что когда-то учили родители. Я еще вернусь к катехизису, а сейчас мне хочется кое-что дополнить к Вашим положениям. Некоторые соображения, которые, кажется мне, даются людям не менее трудно, чем Ваши.

1. Другие люди могут быть другими. Понять и принять такое очевидное положение сегодня, оказывается, так же сложно, как и во времена религиозных войн. Это неприятие других продолжает существовать и на уровне религии (Ирландия с ее средневековыми столкновениями протестантов – католиков) и на расовом уровне у нас в национальных распрях: армяне – грузины, русские – евреи, в среднеазиатских наших конфликтах. А сколько внутри любого коллектива нетерпимого к инако-образным – инакодумающим, инаколюбящим, инакопонимающим, инакоживущим. Само понятие „инакомыслящий” должно бы считаться похвалой, признаком ценности человека, оно обрело осудительный характер. Признать право другого быть другим требу-

ет уважения к личности другого. А это в свою очередь требует развитого самоуважения. Между прочим, самоуважение требует критического отношения к себе, смирения и интереса к своей душе, ее движениям и потребностям.

2. Этические проблемы легко приводят к Богу. Слишком легко. Требования добра, доброты, прощения, терпения и т.п. Все они проще всего мотивируются на религиозной основе. Когда она есть, этические положения выстраиваются естественно. „Если же Бога нет, то все дозволено”, – утверждал Достоевский, то есть запреты рушатся, зло, эгоизм нечем остановить. Вроде правильно, страшно, а вот Бога отодвинули на самый край жизни – и что? Оказалось, что запреты остались. Нравственные запреты продолжают чем-то жить, питаться.

Вседозволенности не наступило. Конечно, порчи хватает, но я не о ней, а о том – чем все же продолжает держаться человек? Есть в нем генетическая этика? Есть что-то вложенное в душу независимо от личной веры, этическое начало?

3. О чувстве собственного достоинства. Летел я однажды через океан на самолете компании «KLM». Стюард, представительный мужчина лет сорока пяти, после ужина укладывал нас спать. Вы бы видели, как заботливо он окутывал пледом ноги пассажирам, подкладывал под голову подушечки. Делал он это с достоинством, тем большим, чем более внимательно он ухаживал за каждым. Его достоинство от его стараний только выигрывало. Я запомнил его в силу своей благодарности, которую невозможно было оплатить чаевыми. Он, укутывая нам ноги, был выше нас именно потому, что делал добро нам, а не мы ему.

И делал он это с удовольствием, с удовлетворением. Разумеется, все это школа сервиса, не более, но подлинное в ней это отсутствие униженного и для него, и для нас.

4. Для меня одно из наиболее сложных этических требований – это умение прощать. Что можно прощать, что надо прощать и чего нельзя. Ведь есть же вещи непростительные. В этом смысле любовь к ближнему, о которой Вы говорите, как-то должна сочетаться с борьбой. Мало проповедовать, надо, очевидно, бороться за свои идеи и принципы, и борьба эта так или иначе становится борьбой с какими-то людьми, группами.

Поэтому так трудно согласиться с Вами об итогах новомирской борьбы, о том, что интеллигенция приобрела в результате очень немного хорошего и много плохого. Мне думается, „Новый мир” поддерживал в течение многих лет очищающую работу мысли. Нужно было разгрести авгиевы конюшни зла, предрассудков, выви-

хов сознания. Мы плохо предоставляем себе сегодня, в каком дерьме мы находились. Я недавно перечел статьи, связанные с проработкой Зощенко. Невозможно понять, как мы могли читать такое. Возьмите письма А.А. Любищева до 1955–1956 годов. Какая узость и робость мысли! Это у него. И как нарастает быстро свобода его духа в последующие годы. Разве это только его заслуга? Нет, это заслуга иной общественной атмосферы. И многое тут сделано было „Новым миром”. До какого-то момента критика освобождает мысль, выявляет правду и истину, что уже – нравственная ее заслуга. А вот потом, если движения нет, критика буксует, и личность действительно погружается в грязь всеобщего отрицания, начинается круговой обстрел и торжество уныния.

Падение нравственности, о котором любили говорить во все века, ныне имеет объективные показатели. Нравственность падает быстро, возьмите хотя бы такие показатели, как воровство, взятки, казнокрадство. В этих условиях я не уверен, что так уж потребно разбирать тонкие проблемы этики. Нет ли тут снобизма?

5. Мне казалось, что несколько оздоровить общество могло бы общественное мнение, то, чего у нас нет. У нас не действуют законы осуждения обществом непорядочного поступка, лжи, хамства, предательства. Если нет страха перед Богом, то должен быть страх перед мнением своего общества. То, что всегда было у аристократов, у ремесленников, у купцов – свой цех, своя гильдия, свое офицерское собрание. У ученых этот механизм также действовал четко, вспомните, например, историю, связанную с отставкой Мензбира в Московском университете. Не подать руки подлецу – чего ж тут плохого, такой акт нужен для человека так же, как акт прощения. И то, и другое повышает требовательность к себе. Этика – это процесс повышения требовательности к себе, непощения себя, работы совести.

Лев Толстой был непримирим к дворцовой камарилье, не прощал и не шел на протянутые к нему руки.

Насчет злой литературы (М.Булгаков, М.Щедрин). Я не уверен, что литературу можно оценивать добром: добрая, недобрая... Такие оценки несут в себе идею полезности. Полезно – бесполезно. Примерно тот вид требований, который предъявляли власти всех времен – цезари, короли, цари и прочие руководители. Наиболее умные из них все равно оценивали, а насколько то или иное произведение служит Делу воспитания патриотизма, мужества, производственной дисциплины, научному прогрессу и т.п. Добро тоже требует службы.

Борьба со злом (Данте, Свифт). Это что – служба добру? А разве Щедрин не боролся со злом?

Не лишает ли художника Ваше требование добра – свободы? Да и не только художника. Когда Вы с лучшими намерениями возглашаете добро верховным принципом, я понимаю, что нужно иметь какой-то универсальный критерий, понимаю, что добро лучше всего подходит для этого, понимаю и тут же возмущаюсь: а почему вы меня судите добром, почему не свободой, не любовью, не уважением к человеку? Не желаю я вашего добра, свободу мне дайте! Согласится ли человек, если накладывать на него единственную мерку добра? Любовь к человеку выражает себя по-разному, не только через добро. А как быть с заповедью, требующей быть алчущими и жаждущими правды?

Вопросов тут множество, раздражают на них формулы и требования. Когда требования к человеку идут от Бога, их принимаешь почти безропотно. Требования же, лишенные Бога, должны, мне кажется, строиться иначе, надо искать для них новую форму.

Пишу я все это с некоторым смущением. Кругом черт знает что делается, живем во лжи, которая никогда еще не достигала такой наглости, вся Россия к вечеру шатается пьяной, несправедливость и глупость тычет нас в морду на каждом углу, честному человеку жить все труднее, воруют практически все... Где ни соберутся, только и разговору о мерзостях нашей жизни. И в это время заниматься тонкостями этики – неловко. Гурманство. Среди голодухи. Дача горит, детей выносить надо, а тут приходит милая девица – не купите ли малины?

И между нами – умная статья Ю.А.²² об идеальном герое – то же впечатление произвела.

Порассуждать, конечно, охота, я сам, как видите, соблазнился, и отдаю должное и радуюсь работе Вашей мысли и совести, но признаться в своих сомнениях – должен.

Очень хотелось бы пообщаться устно, так что с нетерпением жду Вашего приезда в Ленинград.

Привет Вашей супруге.
Август 84 г. Ваш Даниил Гранин.
Комарово».

* * *

Бог это больше, чем гармония мира. Бог сотворил человека и ждет от него понимания – примерно так рассуждали мы с Сергеем Мейеном.

²² Ю.А. Шрейдера (Ред.).

Э.И. Колчинский

Он был замечательный ученый и прекрасный человек. Мы виделись с ним редко, в основном на разного рода конференциях и симпозиумах, и всегда ожесточенно спорили. Что отнюдь не мешало нашей дружбе, а напротив, укрепляло ее. Так, во всяком случае, он говорил. В любом случае, именно у него я учился искусству уважи-

тельной полемики и не придавать идейным расхождениям личностный характер. Тогда это было далеко не так очевидно.

В ряде случаев мы выступали с ним единым фронтом, когда сталкивались с лысенковщиной. Его ранняя смерть – трагедия для нашей науки.

В.Ю. Милитарёв

В юности я зачитывался Николаем Лосским и Семеном Франком, но гораздо больше на меня повлияли менее известные философы, прежде всего Сергей Аскольдов (Алексеев) с его «Мыслью и действительностью». А также русские философы природы – Николай Страхов со своими натурфилософскими сочинениями, Владимир Порфирьевич Карпов с книгами «Основы органического понимания природы» и «Натурфилософия Аристотеля». Из более поздних – биолог-натуралист Борис Сергеевич Кузин, больше известный как поэт и мемуарист. Он тонко рассуждал о типологическом мышлении и проводил противопоставление типов и планов строения как, соответственно, интуитивно-образного и рационального способов познания природы.

Непосредственно же на меня повлиял мой покойный учитель и друг Сергей Викторович Мейен. К сожалению, он умер очень рано – в пятьдесят с копейками. Он был не только великим палеонтологом, но и философом природы высочайшего класса. На протяжении двенадцати лет мы общались очень тесно.

Я увлекался философией и философией природы с юности. Мне было лет 18–20, когда мой приятель привел меня на секцию Московского

общества испытателей природы. Секция называлась, кажется, «Теоретические проблемы биологии». После доклада я выскочил задавать вопросы и сказал, что не считаю форму эпифеноменом. После этого ко мне подошел мужчина лет сорока и спросил: «Вы, наверное, Любищева читали?» «Да, читал, и вообще я убежденный антидарвинист», – ответил я гордо. «И я тоже про это писал. Может быть, вы слышали мою фамилию – Мейен?». «Как же, я читал вашу статью в “Журнале общей биологии”, а вот в журнале “Природа” вас обозвали идеалистом и мистиком и сказали, что вас надо выметать из науки». Так мы и подружились. Это было в середине 1970-х. Он стал звать меня домой, познакомил с Юлием Анатольевичем Шрейдером, который также стал моим другом и учителем.

Наши отношения с Мейеном были слегка подпорчены тем, что я без ума влюбился в его дочку, с которой мы год дружили, а потом она меня послала. Мейен был очень теплым и любящим отцом, после этого события мы стали реже встречаться, но наша дружба сохранилась, если не до смерти, то до его предсмертной болезни. Когда он заболел, то перестал людей принимать, кроме самых близких.

И.А. Добрускина

В начале нашего знакомства, в 1957 году, он показался мне человеком с основой. Он много рассказывал о себе и своей семье. И мне казалась оправданной такая сознательная «двойная жизнь» в советской действительности. Мне казалось очень важным, что он не врет себе и своим близким. А в тот год – и мне тоже.

С.В. не был человеком слабым. Он менял свою позицию не от слабости, а по расчету. Строго продуманному и последовательно проводимому. Он твердо и уверенно делал карьеру. Он сам говорил мне в 1957 году, что выбрал палеоботанику из всех остальных «палеонтологий»

потому, что там не было конкуренции и легче было сделать карьеру. Тогда же, в 1957-м он говорил о необходимости рекламировать свою работу и о принципе «кто придерется?». Сергей любил повторять, что никакие опровержения не могут ликвидировать написанное ранее. Каждый из этих двух документов до скончания века будет жить независимой жизнью.

Но тогда, в 1957-м, он был увлечен палеоботаникой. Работал много и с интересом. Правда, и Мария Фридриховна Нейбург держала его в «ежовых рукавицах». Он распустился только после ее смерти. Стал меньше работать и больше

рекламировать свою работу. Выступать перед философами и биологами, чтобы приобрести более широкую известность. Все это требовало времени и отвлекало от науки, палеоботаники.

Для него не было трагедии в смене позиции. Это были «этапы большого пути». Успеху содействовало сочетание его незаурядной талантливости и незаурядного цинизма, тщательно скрываемого. Возраст тунгусской флоры, так же как и точка зрения А.А. Любищева не имели для него никакого значения. Его развлекало и давало удовлетворение то, что он может повести ситуацию так, как захочет. Как хочу, так и будет. Захочу – тунгусская флора будет пермской, а захочу – триасовой. Захочу – обосную «номотетическую теорию эволюции», а захочу – СТЭ. Захочу – доктором будет М.В. Дуранте, а захочу – М.П. Долуденко. Захочу – старшим научным сотрудником изберут Инну Андреевну, а захочу – Нину Андреевну.

И в каждом случае умница и одаренный человек использовал для убеждения масс типично советское лицемерие и запугивание. Например, А.С. Масумов честно сказал мне, что официально не обратится за помощью ко мне, потому что С.В. ему этого не простит. А от меня он не ждет пакостей ни при каком раскладе.

После поездок за границу С.В. очень переживал, что ученые его уровня на Западе живут несравненно лучше. И много говорил об этом. Я спросила, не хочет ли он уехать. Он ответил: нет. И объяснил, что там надо слишком много усилий для получения грантов и т.п.

Мне он несколько раз говорил, что его почему-то принимают за еврея. И обязательное «ха-ха-ха!» после такого рассказа.

Мало кто знает, почему академик В.В. Меннер, много поддерживавший С.В., «разлюбил» своего протеже и перестал заходить к нему в 215-ю комнату. Почему Сергей не стал заместителем директора ГИНа.

С.В. хотел продвинуть одного палинолога из Воркуты²³, но этому препятствовал его начальник, и у С.В. не получалось сделать по-своему. Как-то в 215-й я случайно услышала, как Сергей сказал по телефону: «Ну, если у него высокие покровители в геологических кругах, мы будем действовать через партийную организацию». Если бы он только знал, что «высоким покровителем» был В.В. Меннер! А жертвой Сергея должен был стать его (Меннера) любимый ученик, который отсидел много лет за чтение каких-то не тех стихов и только недавно выпущенный на поселение в той же Воркуте! В.В. Меннер все эти годы тайно помогал ему и его семье. И вот Мен-

нер получает то самое замечательное письмо Мейена – донос. О том, как был подавлен Меннер, мне рассказывали Ю.Б. Гладенков и В.А. Крашенинников. Сама я знаю, что после чтения этого письма В.В. Меннер *ни разу* не зашел в 215-ю, а до этого бывал каждый день. Вопрос о замдиректорстве больше не поднимался. Я не знаю, рассказал ли кто-нибудь всю эту историю Сергею. Может быть, он так и не узнал правду.

Ю.Б. Гладенков рассказывал мне, что в последний год своей земной жизни С.В. сказал ему, что, как член диссертационного совета ГИНа, не будет голосовать против каких-либо диссертаций, даже не отвечающих необходимым требованиям. Из этических соображений, в том числе, «принципа сочувствия». На резонный вопрос, зачем тогда сидеть в совете внятного ответа не последовало. С.В. очень хотел быть избранным в Академию. И, может быть, поэтому хотел иметь меньше врагов при избрании в эту структуру.

«Принцип сочувствия» Мейена в своей основе содержит превосходство «сочувствующего» над ущербными, душевно-духовно больными «объектами сочувствия» и тем самым неизбежно влечет унижение этих несчастных. На деле же не было и такого «сочувствия». С.В. натравливал людей друг на друга, отнюдь не предлагая им встать на точку зрения оппонента, а провоцируя вместо этого нападки. Например, Г.Н. Садовникова на Н.К. Могучеву. Я слышала его «уроки» Г.Н. Садовникову перед поездкой последнего в Новосибирск, а потом наблюдала Садовникова в Новосибирске во всеоружии мейеновских формулировок.

Когда после моего успешного доклада на Ученом совете ко мне подошел директор ГИНа академик А.В. Пейве и прилюдно похвалил доклад, Сергей тут же организовал высказывание для М.П. Долуденко: «Пейве доклад Инны понравился потому, что доклад был не серьезный, а популярный». Иными словами, доклад мой ничего не стоил, а «дурак Пейве» этого не понял. Когда после доклада я вошла в 215-ю, меня встретило гробовое молчание.

Не требует комментариев «сочувствие» Сергея к Г.П. Радченко и многим провинциальным палеоботаникам.

Он продумывал любые мелочи для понижения статуса окружающих. Как-то раз, подойдя к телефону в 215-й, я увидела рукопись статьи А.В. Гоманькова, открытую на странице, где рукой С.В. были убраны кавычки в цитате из моей статьи. Сама цитата без кавычек была оставлена, но зато убрана ссылка в списке литературы. Чтобы индекс цитирования у меня был меньше хотя бы на одну единицу.

²³ А.Б. Вирбицкаса (Ред.).

Несколько слов о последних днях С.В. А.В. Гоманьков после визита к С.В. передал мне и М.В. Дуранте его просьбу приехать к нему, потому что он чувствует себя виноватым перед нами. Особенно передо мной. Мы собрались ехать, но

тут позвонила Рита и сказала, что Сергей не чувствует перед нами никакой вины. М.В. все же поехала к нему, а я осталась. Он подарил М.В. «Основы палеоботаники», а Рита *заставила* его подписать другой экземпляр для меня.

Б.С. Шорников

С С.В. Мейеном мы встретились в 1963 году в стенах Московского общества испытателей природы. В это время я был приглашен проф. Н.А. Плохинским в созданную при Обществе Комиссию по применению математики в биологии, где работал сначала оргсекретарем, затем – заместителем председателя, а с 1980 года – председателем биометрической части Комиссии. Таким образом, с 1963 по 1987 годы, т.е. без малого четверть века мы были дружны. Чтения и конференции памяти А.А. Любищева, К.М. Бэра и других выдающихся исследователей – вдохновителем и организатором именно таких мероприятий был С.В. Мейен. На мою долю приходилась вся черновая работа по их организации. Однажды, обидевшись, я спросил С.В.: «Что я, машинистка?!» «Нет, – твердо ответил Мейен, – ты у нас *машинист* – тот, кто ведет состав сквозь бури и завалы!». За такую высокую оценку моего многолетнего безвозмездного труда я благодарен С.В. на всю жизнь. А таких «бурь и завалов» в нашей работе в МОИП было много. Вот лишь некоторые из них.

Комиссия по применению математики в биологии была создана в 1957 году, но своего издания или листажа в публикациях Общества не имела. При этом одновременно возникшее Американское биометрическое общество сразу же стало издавать журнал «Biometrics», а в ГДР начал выходить «Biometrische Zeitschrift». Эта ситуация сохранялась десять лет, пока по инициативе К.М. Эфрона и С.В. Мейена не было организовано ротапринтное издание Докладов МОИП серии «Общая биология», выходившее до 1990 года²⁴.

Именно в издательских делах помощь С.В. была для меня самой дорогой и ценной. Подобной поддержки ни от кого другого, кроме К.М. Эфрона, я получить не мог. Так продолжалось до 1972 года, когда работа Комиссии круто изменилась. Той осенью Ю.В. Чайковский читал одну из своих лекций по биоорганическому разнообразию и завершил ее известием о кончине А.А. Любищева. В Ульяновске была создана Ко-

миссия по его наследию. В нее вошли Р.Л. Берг, Р.Г. Баранцев, Р.В. Наумов, Ю.А. Шрейдер и С.В. Мейен. Они составили примерную опись архива и передали его в Ленинград (фонд 1033 Ленинградского отделения Архива АН СССР), где он и хранится уже тридцать лет.

Тогда же по инициативе С.В. Мейена в Ленинграде прошли первые и вторые Любищевские чтения (в 1973 году под эгидой Ленинградского общества естествоиспытателей, ЛГУ и МОИП; а в 1974 году под патронажем Зоологического института АН СССР, ЛГУ и Всесоюзного энтомологического общества).

С 1975 года, по настоятельной просьбе С.В. Мейена, все последующие (III–XXX) Любищевские чтения стали организовываться при участии Комиссии по применению математики в биологии МОИП.

III Любищевские чтения «Классификация в науках о Земле» были проведены МОИП и Геологическим институтом АН СССР в октябре 1975 года²⁵.

Впоследствии они стали ежегодными теоретико-биологическими, биометрическими Любищевскими чтениями МОИП и его Комиссии по применению математики в биологии. Большая часть их тематики была посвящена проблемам теоретической биологии.

Сборник работ А.А. Любищева «Проблемы формы, систематики и эволюции организмов» (М.: Наука, 1982), подготовленный С.В. Мейеном и Ю.В. Чайковским, стал событием в отечественной биологической литературе. Таких прекрасных, научно выверенных комментариев я больше не видел ни в одном другом издании трудов А.А. Любищева. Эта книга стала на 20 лет настольной для каждого теоретика биологии.

При деятельном участии С.В. Мейена были опубликованы еще четыре важные работы:

1. Ретроспективный указатель отечественной литературы (1870–1970) «Биометрия», составленный П.В. Терентьевым (М.: БЕН АН СССР, МОИП, 1980). В этом издании впервые в отечественной литературе были представлены 1100 библиографических ссылок (9000 иностранных

²⁴ С 1991 года оно приобрело форму депонирования в ВИНТИ АН СССР и вновь перестало издаваться.

²⁵ См.: Доклады МОИП. Сер. Общ. биол. 1975 г. II полугодие.

ссылок, составляющие второй том, опубликованы не были). К ним был составлен систематический алфавитно-авторский и предметно-систематизированный (биология и математика) указатели, отражающие столетний опыт решения задач количественной оценки и биометрического анализа проблем эволюции, морфогенеза, биоорганического разнообразия, систематики и таксономии животных и растений.

2. Сборник «Теория и методология биологических классификаций» (отв. ред. Ю.А. Шрейдер. М.: Наука, 1983). В этом издании была впервые опубликована переписка Б.С. Кузина и А.А. Любичева по проблемам таксономии и систематики.

3. Сборник «Системность и эволюция» (отв. ред. Ю.А. Шрейдер. М.: Наука, 1984). Здесь опубликована и статья С.В. Мейена «Принципы исторических реконструкций в биологии».

4. А.И. Шаталкин. «Биологическая систематика» (М.: МГУ, 1988).

Но особенно велика роль С.В. Мейена в становлении и развитии Всесоюзной комиссии классификационных исследований ВСНТО СССР и Совета по кибернетике при Президиуме

АН СССР 1979–1995 годов, когда был организован оргкомитет ВККИ под председательством члена-корреспондента АН СССР, проф. Г.Б. Бокля, в который вошли проф. С.М. Бреховских, С.В. Мейен и другие ученые. Оргкомитет провел: 1) Первую классификационную конференцию (г. Борок, Институт внутренних вод АН СССР, октябрь 1979 г.); 2) Вторую классификационную конференцию (ВЦ СОАН СССР, Новосибирск, 1981 г.) и еще несколько классификационных конференций (в 1983, 1985, 1987 и 1991 гг.). Итоговой монографией этого двадцатилетнего периода классификационных исследований стал труд С.М. Бреховских, А.П. Прасолова и В.Ф. Солинова «Функциональная компьютерная систематика материалов, машин, изделий и технологий». (М.: Машиностроение, 1995). В нем на примере работы Института технического стекла и новых технологий была разработана методология функциональной систематики (МФС). С.В. Мейен был консультантом этой работы.

Таков краткий список «деяний» С.В. Мейена в морфометрии и смежных областях биологических и технологических знаний.

И.А. Игнатьев

С моим Учителем – Сергеем Викторовичем Мейеном – я познакомился в 1974 году, будучи восьмиклассником 31-й московской средней школы. К тому времени я уже несколько лет увлекался палеонтологией, ходил на Палеонтологический кружок при одноименном институте АН СССР (ныне – РАН). Ездил с кружком по окрестностям Первопрестольной, собирал окаменелости и интересовался беспозвоночными, в частности, губками подмосковной юры. Мои палеонтологические устремления разделял мой школьный товарищ и однокашник, ныне покойный Сева Николаев – сын известного геофизика, впоследствии академика А.В. Николаева. Палеонтологические интересы Севы нашли неожиданную поддержку друга семьи Николаевых и одновременно С.В. Мейена – известного журналиста и писателя А.А. Гангнуса. Он написал Мейену записку, помнится, следующего содержания: «Сергей! К тебе придет Сева, поговори с ним, дай камней и ненужных фотографий». В качестве прелюдии к разговору Гангнус вручил Севе для прочтения недавно вышедшую книгу С.В. «Из истории растительных династий». Идти один к великому Мейену Сева побаивался и для храбрости пригласил с собой меня. Так я познакомился с С.В., став впоследствии его подопечным, учеником, сотрудником, соавтором, а после его без-

временной кончины – в определенной мере его продолжателем и душеприказчиком.

* * *

Имя С.В. Мейена известно в целом ряде областей науки и философии. И потому правомерен вопрос, кем считал себя Мейен: ботаником, эволюционистом, теоретиком-морфологом или, может быть, философом, науковедом, моралистом? Ответ, наверное, прозвучит неожиданно для многих. Страстью и главным жизненным интересом незабвенного Сергея Викторовича была палеоботаника – малоприметная наука о вымерших растениях. С.В. Мейен считал себя палеоботаником и только им. Когда ему говорили, что как эволюционист он значит больше, чем палеоботаник, – он отшучивался, что «лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме». И пояснял, что у каждого серьезного ученого должна быть «своя деревня» – сфера, в которой он наиболее компетентен и которая питает фактами его теоретические построения. Только так можно осуществлять продуктивные исследования и выход в другие науки. Правда, за этой методологически выверенной рассудительностью скрывалась капля горечи. «Палеоботаника, – делился он в своем кругу, – типичная «малая наука». События, важность которых первостепенна для нее,



И.А. Игнатьев и С.В. Мейен собирают остатки ископаемых растений в местонахождении «Аристово» (Вологодская обл., 1976)

часто проходят незамеченными даже в смежных дисциплинах. Человек, работающий в такой «малой науке» как палеоботаника, постоянно сталкивается с тем, что его достижения, становятся достоянием лишь узкого круга коллег. Все прочие ученые не всегда могут понять ни смысла достижения, ни масштабов его новизны».

Повседневная работа палеоботаника неотрывна от скрупулезного изучения вымерших растений, точнее, их часто невзрачных окаменелых или обугленных обрывков на кусках горной породы. Их изучают под микроскопом, специальными методами заставляют проявиться скрытую в породе тонкую клеточную структуру, привлекают споры из спорангиев... «Все остальное, – говорил С.В. Мейен, – становится главным смыслом работы лишь у единичных исследователей, имеющих максимальную свободу действий. Иногда это фитогеография, иногда палеоэкология растений, еще реже – разработка каких-то общих вопросов систематики, филогении, эволюции растений. Так мы работали в прошлом веке, так работаем и сейчас. Добросовестный, наблюдательный палеоботаник прошлого века оставлял труды, не устаревшие до наших дней».

Склонность к таким сугубо конкретным исследованиям раскрывает одну из главных сторон научного творчества С.В. Мейена – эмпиризм.

Подобно Ч.Дарвину, он получал огромное удовольствие от наблюдения своих объектов. Однажды, говоря о растительных остатках, он признался автору этих строк: «Знаешь, я от них просто шалею».

Но С.В. Мейен никогда не работал подобно Дарвину «в истинно бэконнианском духе», «собирая на широкую ногу факты». Как один из учителей английского классика – ботаник Д.С. Генсло, Мейен любил делать выводы из длинного ряда тщательно проделанных тонких наблюдений. Он не только получал эстетическое наслаждение от открытия новых замечательных фактов, но прямо сопоставлял ученого с артистом, который своими работами доставляет интеллектуальное удовольствие коллегам и, в свою очередь, способен переживать катарсис от изучения их работ. Поверхностные, неряшливо сделанные монографии и статьи оскорбляли его интеллектуальный эстетизм, и в таких случаях он нередко забывал проповедуемый им «принцип сочувствия».

Свой эмпиризм Мейен называл «поистине “ползучим”», поскольку, как объяснял он, «и геологический разрез, и географическое пространство надо буквально использовать, чтобы получить что-нибудь интересное. Также использовать надо собранные образцы, сделанные микроскопические препараты и литературу, особенно если

среди образцов встретилось что-то незнакомое и непонятное».

Как палеоботаник С.В. Мейен продолжил направление своей наставницы – М.Ф. Нейбург (1894–1962). Идеалом палеоботаника стал для него англичанин Т.М. Гаррис – яркий представитель сугубо эмпирической исследовательской традиции, идущей от «отцов-основателей» британской палеоботаники, таких как Д.Г. Скотт, А.Ч. Сьюорд и Х.Томас. «Гаррис – рассказывал С.В. Мейен, – не сделал великих палеоботанических открытий. И дело не в том, что он ввел в палеоботанику какие-либо хитроумные методы, а в том, что из материала, выбранного для исследования, он извлекал все, что можно. Гаррис никогда не принимался за обобщения в планетарном масштабе. Может быть, это связано с тем, что он, как никто другой, знал цену фактам, которые всем казались неоспоримыми. Но Гаррис никогда не был только коллекционером фактов и строгим профессиональным ревизором. Ведь разгаданная природа доселе неизвестного или непонятного ископаемого растения – это не голый факт, а уже готовое обобщение и необходимый исходный материал для качественной реконструкции растительного царства геологического прошлого». И сам он в высшей степени развил в себе способность извлекать из материала все, что можно.

Великий Г.В.Ф. Гегель как-то заметил, что крайности сходятся. С.В. Мейен не был в этом смысле исключением. В его личности эмпирик вполне уживался с рационалистом и метафизиком, для которого общие, мировоззренческие, натурфилософские идеи, стояли если не впереди фактов, то властно подчиняли себе их подбор и оценку, имели самодовлеющую ценность и значение. Отсюда глубокий интерес С.В. Мейена к Платону и И.Канту, натурфилософским идеям Л.Окена и И.В. Гёте, трудам немецкого ботаника В.Тролля и других классиков «идеалистической морфологии». С.В. Мейену было в высокой степени свойственно то «удивление», та «жажда знания» и бескорыстное «стремление к познанию вечного и непреходящего», с которых, если верить Геродоту и Платону, началась философия. Он с наслаждением читал неокантианцев В.Виндельбанда и Г.Риккерта, неовиталиста Г.Дриша и философствующего историка биологии А.Мейер-Абиха. Получал истинное удовольствие от длинных, многоходовых дедукций, складывающихся в последовательную систему знания...

Вкус к теории, помноженный на выдающиеся интеллектуальные способности, выдвинули Мейена в ряды крупнейших теоретиков палеобо-

таники и палеонтологии «всех времен и народов». На одной высоте с ним стоят лишь отдельные титанические фигуры, вроде германского палеоботаника французского происхождения А.Потонье или палеозоологов Э.Д. Копа и О. фон Шиндевольфа.

Взаимодействие эмпирической и рационалистической тенденций, одинаково сильных и не желающих уступать друг другу, определили облик научного творчества зрелого Мейена. Как известно, последовательный эмпиризм ведет к скептицизму, который у не очень умных или неблагонамеренных людей приобретает нигилистическую окраску. У Мейена, благодаря рационалистической жилке, рождаемый эмпиризмом скептицизм не принял разрушительную форму отрицания основ современной науки. Вместо этого возник мудрый сократический критицизм, указывавший на ограниченность нашего знания. «Нашего знания вполне достаточно, – говорил С.В. Мейен, – чтобы чувствовать себя “человеком разумным”, способным к непрестанному постижению окружающего мира и самих себя. Но его никогда не будет достаточно, чтобы сказать, довольно потирая руки: “Наконец-то я это познал до самых корней, и никто не посмеет сказать, что я не прав!”». Так, Сергей Викторович пришел к выводу о том, что создание полноценной теории эволюции в настоящее время вряд ли возможно. Слишком мало мы знаем для этого о законах изменчивости и онтогенеза, о том, как генетическая программа преобразуется в структуру целого организма, слабо представляем себе эволюционное значение различных форм отбора... Свою роль в развитии эволюционизма Мейен видел в «сквозном, глубоком и конструктивном критицизме», который, по примеру Сократа, должен был стимулировать «продолжение синтеза».

В области философской онтологии эмпиризм привел Мейена в стан последователей *пробабилизма* – «вероятностного взгляда на мир», олицетворяемого для него его старшим по возрасту коллегой и другом, ныне покойным В.В. Налимовым. По представлениям Мейена и Налимова, «вероятностное восприятие мира – это видение природных процессов в вероятностно взвешенной размытости». Например, любые систематические группы (таксоны), от минералов до живых организмов, в частности – виды, роды или семейства животных и растений, имеют *вероятностную природу* – отличаются не раз навсегда заданным набором и отсутствием определенных признаков, а лишь частотой проявления тех или иных признаков. Такие «вероятностные» таксоны являются не исключением или проявлением

слабости познающего разума, а глубинной *закономерностью* окружающего нас мира.

* * *

Многие аспекты творчества С.В. Мейена трудно, а иногда – невозможно понять вне контекста, связанного с его импозантной личностью. Причем речь идет о чертах, далеко выходящих за рамки мифа о нем, сложившегося после его кончины. Несмотря на любовь и глубокий интерес к науке, С.В. Мейен не был чистым искателем истины. Человек своей социальной прослойки и эпохи, он был не только в высшей степени честнолюбив, но активно стремился «наверх», старался завоевать для этого расположение власть имущих, быть избранным в Академию, достигнуть материального благополучия советской научной элиты. Для этого он мог поступиться принципами, следовать конъюнктуре, действовать цинично и жестко, а иногда и безнравственно. Систематические занятия саморекламой были далеко не худшим приемом в этом арсенале средств.

Стремление занять соответствующее своим дарованиям положение, особенно с конца 1970-х годов, играло все более значимую роль в его научных делах. Взяв курс на избрание в Академию, он все более решительно «встраивался в систему». Так, он публично, в печати, в порядке якобы «profession de foi» отказался от попыток построения и самого термина «номотетическая теория эволюции». Заявил о своем намерении продолжать синтез, начатый основателями СТЭ, фактически предав тем самым научные идеалы своей молодости и своих учителей от Н.Я. Данилевского и Л.С. Берга до А.А. Любищева, знаменам которых он клялся в верности. Быть полезным «сильным мира сего», искать их дружбы и покровительства, не раздражать, ни с кем не ссориться, особенно с «нужными людьми»... Во всем этом было немало лицемерия и ловко маскируемого цинизма. Ибо ни власть предрежащих, ни академиков, ни многих собратьев по цеху С.В. – человек с чрезвычайно высокой самооценкой – откровенно не любил, а иногда просто презирал.

Он получал почти физическое наслаждение от ощущения своей интеллектуальной силы и влияния, от мощи присущего ему софистического дара убеждения, которого даже сам побаивался.

С.В. не стремился к власти над людьми, хотя нередко беззастенчиво манипулировал ими, любил их, по крылатому выражению Ф.Ницше, как рыцарь любит своего коня, когда гонит его к своей цели. Все это прикрывалось самими благими намерениями и интересами «дела».

Общечеловеческих чувств зависти, ревности, недоброжелательства он также не был лишен.

Был весьма подвержен позывам плоти, особенно в юности и в молодые годы. Любил красивых женщин, и ради очередной «пассии» он мог зайти далеко...

И при всем том, С.В. был человеком с развитым нравственным чувством и чутьем, способным к глубокому, деятельному раскаянию, нравственному усовершенствованию. Стремился делать добро, как призывал к тому почитавшийся им доктор Гааз. В этом Учитель был очень похож на многих христианских святых, поднявшихся на высоты духа «из грешников», после череды глубоких и мучительных падений. И один Бог знает, как тяжело ему было нести отпущенные свыше дары и таланты!

* * *

В религиозном отношении С.В. формально исповедовал Православие, но церковным человеком не был. Из его рассказов я понял, что отчасти повинна в том была его матушка – С.М. Мейен, точнее ее духовный ригоризм. София Михайловна, с одной стороны, хотела, чтобы ее единственный любимый сын, надежда семьи, принимал участие в церковной жизни, в ее таинствах, в том числе – регулярно ходил к исповеди. А с другой – боялась, что это может повредить его будущему в атеистическом советском обществе, и потому не была достаточно тверда и настойчива. Тем не менее, для руководства духовным воспитанием сына она нашла ему хорошего, строгого духовника – протоиерея Александра (Толгского) из храма Ильи-пророка в Обыденном переулке. Но, увы, как рассказывал мне С.В., в определенном возрасте, когда зов плоти стал громок и настойчив, он понял, что есть вещи, которые не нужно или, по крайней мере, не обязательно знать его духовному отцу. Приходилось обманывать. Так, говоря, что идет на вечернюю службу, С.В. с детским легкомыслием отправлялся часами кататься на только что построенную ветку московского метрополитена. В целом, С.В. рос если не избалованным, чему мешала бедность семьи, то безмерно любимым и любящим себя ребенком. Баловался, старался выделяться среди товарищей, задира л девчонок и дразнил школьных учителей. В общем, не рос благонравным пай-мальчиком в духе религиозных брошюр о святых детях.

Однако лояльное отношение к традиционной религии своего народа, своих предков, свою исконную принадлежность к Православию С.В. сохранял всю жизнь, перед смертью был исповедан, причащен Святыми Христовыми Тайн и отпет по православному обряду.

Именно под его влиянием, точнее под обаянием личности С.В. я, вскоре после поступления на



С.В. Мейен со своими ближайшими учениками (слева направо) А.В. Гоманьковым и И.А. Игнатьевым в комн. 215 Геологического института (начало 1980-х)

работу в ГИН в 1981 году, решил тоже обратиться в православную веру, о чем и заявил Учителю. С.В. отнесся к этому весьма сочувственно и серьезно. Поручил мою подготовку к крещению другому своему ученику – А.В. Гоманькову, которого считал большим авторитетом в религиозных делах. Принес даже несколько запрещенных в то время книг из домашней библиотеки: старенькое дореволюционное издание Нового Завета на русском и церковно-славянском языках, «Новый завет» в современном русском переводе с комментариями прот. Александра Меня и еще два эмигрантских издания: превосходный катехизис прот. М.Глиндского и книгу схиархимандрита Софрония (Сахарова) об афонском старце св. Силуане. Все это мне было позволено читать в рабочее время, что означало высшую степень признания и толерантности со стороны Учителя: обычно он строго следил, чтобы его сотрудники на работе занимались делом. «Это тебе поважней любой науки», – веско заметил он. Позднее С.В. посоветовал мне и духовника: ныне покойного прот. Александра (Егорова) из того же храма Ильи-пророка. «Он человек не книжный, про-

стой, – сказал он, – но в духовном отношении будет повыше многих богословов».

Кстати, к богословию С.В. был вполне равнодушен: песней его души была наука, прежде всего, палеоботаника. Мировоззренческие основы давала ему философия, в том числе, идеалистическая, но последовательной системы философских взглядов у него не было. Для философских рефлексий он советовал брать готовые философские разработки. Казенный марксизм и научный атеизм всерьез не воспринимал и при случае всячески осмеивал. По духовному складу С.В. был сознательный, убежденный сциентист. Не думаю, что его теологические познания простирались далеко за пределы упоминавшегося выше катехизиса прот. М.Глиндского, что подтверждает и оставшийся после него архив. Мистической одаренностью С.В. также не обладал, хотя был не прочь, при случае, как он говорил «заглянуть за закрытую дверь». Религия интересовала его, прежде всего, как основа нравственности. При этом его этика странным образом впитала дух гегелевского рационализма и утилитаризма: С.В. считал, что нравственный образ действий явля-

ется, в конечном счете, и самым практичным и рациональным.

Впрочем, в интеллигентных беседах Учитель мог высказаться о Боге и о том, чего Он ждет от нас, или в духе «принципа сочувствия» увидеть «рациональное зерно» в бреднях «научных креационистов». Атеистически настроенные интеллигенты считали его верующим, а околоцерковные и околорелигиозные – «своим».

* * *

С.В. женился рано на Маргарите Алексеевне Рождественской – Ритке, как он ее называл. Она взяла фамилию мужа и вскоре подарила ему единственную дочь Катю. Детей Учитель не хотел: боялся связать себе крылья семейной обузой. Рождение Кати застало С.В. на военных сборах и, по его рассказу, привело его в совершенное отчаяние. Он ушел на задворки воинской части и горько рыдал. Старшему годами товарищу, прошедшему войну, пришлось его успокаивать, объясняя, какое это счастье. По признанию С.В., он никогда не был трогательным отцом и первый опыт отцовских чувств пережил, когда ему было далеко за сорок, а дочь Катя на сносях – он вдруг осознал угрозу навсегда потерять ее.

Про трогательные отношения Учителя с женой написано много, и я не вижу нужды присоединяться к этому хвалебному хору. Замечу лишь, что в части трогательности они сильно приукрашены. Но М.А. действительно была преданный ему человек, вела дом, воспитывала дочь, обеспечивала домашний уют, перепечатывала по его указанию разные ученые труды, не только самого С.В., но и других столпов. Например, именно она перепечатала в нескольких экземплярах архив А.А. Любищева. М.А. самоотверженно ухаживала за С.В. во время его смертельной болезни. Этих заслуг у нее не отнять.

Ее отношения с С.В. несколько напоминали альянс Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Начало им положил мощный зов плоти, прежде всего, со стороны С.В. М.А. никогда не была его музой. Более того, Учитель и его супруга мало подходили друг другу. С.В. – утонченный интеллект, широко образованный, с целой гаммой разносторонних интересов, натура творческая и оптимистичная. «Сверхчеловек» по самоощущению и своего рода советский денди и либертен.

Маргарита Алексеевна, напротив, обладала коротким женским умом. По своему воспитанию была ориентирована на семью, мужа-добытчика, которому должна была служить, быть верной, а он, в свою очередь, все нести в дом и не заглядываться на другой женский пол. Она смогла окончить лишь среднюю школу и всю жизнь прожила, как она выражалась, «просто тетей».

Была, однако, у М.А. одна черта, которая существенно осложняла ее отношения не только с мужем-мыслителем и его окружением, но и шире. По выражению С.В., М.А. «жила в состоянии отрицательного предвидения». Проще говоря, ждала от жизни всего плохого. Во всем видела подвох, происки, неминуемую беду в недалеком будущем. Например, она была твердо убеждена в том, что С.В. ее обязательно бросит, а его друзья, за редким исключением, люди безразличные и будут если не подбивать, то поддерживать его в этом. Никакие пропагандистские ухищрения Учителя не могли убедить ее в ином. Немногие сохранившиеся письма М.А. к С.В. первых лет его работы в ГИНе поражают своей «топорностью», так что невольно возникает образ дремучей совабоницы.

М.А. была красива и после пятидесяти. Внешность С.В., напротив, в том же возрасте с первого взгляда разочаровывала даже самых ярых поклонниц его талантов: маленький, щуплый, большоголовый, голенастый, с серыми близорукими глазками, напряженно поблескивавшими из-за стекол тяжелых «профессорских» очков. Злые языки за спиной прозвали его «марсианин». Другое прозвище – «кот» – он получил после защиты кандидатской за круглую, лоснящуюся физиономию с сыто прищуренными глазками, запечатленную на некоторых фотографиях. Но при всем том С.В. был харизматичен, умел себя подать, был интересный собеседник и весьма галантный кавалер. В компании красивой, сексапильной женщины он заметно оживлялся, чтобы не сказать больше...

В юности С.В. был несколько симпатичней: тонкие черты интеллигентного лица, длинные вьющиеся волосы... Брак его с М.А. был типичным мезальянсом. По признанию С.В., чувство его к М.А. с годами опреснело. Но уходить от нее он не собирался – это бы сильно нарушило его карьерные планы, и, как он говорил, было жалко красоту, которую, по его выражению, сам когда-то и испортил...

* * *

Однако было бы непростительным упрощением представлять себе М.А. некой лишенной внутренней индивидуальности симпатичной машинисткой-домработницей. Она активно влияла на семейные дела, иногда устраивая их даже против воли великого мужа. Так, она на свой лад устроила брак Кати с неким А.Олесовым – ничем не замечательным, хотя и милым парнем, домовитым, рукастым, трудившимся инженером в каком-то «ящике». Скромный, застенчивый, немного закомплексованный Леша Олесов с детства был безнадежно влюблен в Катю, унаследо-

вавшую красоту матери за исключением глаз – они достались ей от отца и, на мой взгляд, несколько ее портили. Проблема была в том, что С.В. хотел, чтобы *Его* зять принадлежал к интеллектуальной элите. Это должен был быть, образно говоря, если не Платон, то хотя бы Алкивиад. А с интеллектуальными достоинствами Олесов испытывал совершенно непреодолимый дефицит. Хуже того, сама Катя, под влиянием отца и стремясь угодить ему, была убеждена, что достойна высокой доли жены Ландау или современного Сократа, хотя и других кавалеров ей «всегда хватало». И вот на горизонте появился, наконец, «принц науки», точнее философии – молодой В.Ю. Милитарёв. И влюбился без памяти. Почти год принц ухаживал за Катей, обсуждая проблемы мерономии с ее отцом. Все вроде бы шло к женитьбе, и вдруг – разрыв.

О том, что произошло, мне поведала сама М.А., которая весьма гордилась проведенной операцией. Поняв чутким сердцем, куда ветер дует, она в нужный момент решительно поговорила с дочерью. Аргументов было два: еврейская внешность Милитарёва (М.А. не была совсем лишена бытового антисемитизма) и другой столь же неотразимый довод. «Скажи, – спросила М.А., – ты хочешь, как я, видеть своего мужа в основном через полузакрытую дверь и со спины?». Разбитая этими тяжелыми ядрами «любовная лодка» В.Ю. пошла ко дну. Но этим дело не ограничилось.

Наготове у М.А. был давно подобранный ею претендент на руку и сердце Кати – тот самый А.Олесов. Оказывается, все эти годы он крутился вокруг будущей тещи, горестно вздыхал, смотрел преданными глазами и, что немаловажно, был исключительно полезен в домашнем хозяйстве, которым Учитель, большую часть дня паривший на высотах духа, как водится, не занимался. «Ну, когда же, когда?!», – в сотый или в тысячный раз грустно вздыхал Олесов, споро работая по заданию М.А. мастерком или иным инструментом. «Ничего, Лешенька, потерпи, будет и на твоей улице праздник», – отвечала ему Ксантиппа, мрачно поглядывая на закрытую дверь в кабинет современного Сократа. И свершилось...

Учитель был в ярости, но поделать ничего не мог. Хотя зятя до конца жизни, мягко говоря, не жаловал. Считал мещанином и глупцом. И был очень уязвлен тем, что Катя сменила его славную, аристократически звучащую фамилию Мейен на плебейскую Олесова.



М.А. Мейен (справа) и Е.С. Олесова с сыном Петей (1980-е)

Нисколько не разбираясь в высоких научных и философских материях, М.А. женским чутьем, интуицией, поняла значение своего мужа. И с тех пор не только грелась в лучах его славы. М.А. постаралась занять при нем то же место, какое нашла себе еще в швейцарской эмиграции Н.К. Крупская при муже, метившем в вожди мирового пролетариата. Правда, в отличие от европейски образованной Н.К., М.А. не была первым читателем и лояльным критиком творений своего супруга, по которым тот судил о возможной реакции товарищей по партии. Зато, как и Н.К., она пыталась активно влиять на круг лиц, которые допускались в их дом или звонили С.В. по домашнему телефону. Трубку-то всегда брала М.А. «Что-то не нравится мне этот твой приятель», – с подозрением говорила она Учителю. И тот относился к этому вполне серьезно, предпочитая супружеский мир росту семейной напряженности. М.А. ревностно следила за нравственным обликом приятелей С.В., решительно отводя от

дома тех, кто запятнал себя разводом, адюльтером и иными подобными «подвигами».

М.А. сознательно скрыла от С.В., что он болен раком и дни его сочтены. По ее словам, «подарила ему два года спокойной жизни». Эту тайну она доверила только А.В. Гоманькову, взяв с него слово ее не разглашать.

Но тайное всегда становится явным. У С.В. начала расти метастаза в колене левой ноги. Появились боли. Он думал, что это результат травмы, полученной после падения с крыльца во время командировки в Алма-Ату. В то время в Москву приехал один из редакторов готовившейся к изданию «Современной палеонтологии» – проф. В.П. Макридин. С.В. пожаловался ему на ногу, и старик расцвел: «Я старый военный фельдшер, всю войну прошел, каких только ран и травм я не видел, я помогу». И прописал согревающий компресс, после которого опухоль начала расти не по дням, а по часам, а боли резко усилились.

М.А. всеми силами блокировала попытки С.В. обследовать ногу. И тогда он при ней попросил меня достать ему через родственников-медиков направление в ЦИТО на обследование, что и было исполнено. В тот же вечер М.А. была вынуждена сказать мужу правду. Полный бессильной ненависти взгляд, которым она обожгла вашего покорного слугу, когда он передавал С.В. бумагу с направлением, помнится мне до сих пор.

* * *

Великий Мейен ушел из жизни рано – ему не исполнилось 52 лет. «Много сделал, вот и приходится уходить», – подвел он итог незадолго до кончины. Он верил, что путь его не кончается – его ждет другой, лучший мир, где он сможет узнать многое из того, что не смог бы познать здесь. Например, какого цвета были семена у давно вымершего голосеменного растения *Tatarina*, восстановленного им по разрозненным обугленным остаткам. Как пахнет его смола... Испытывая жесточайшие боли, он находил в себе мужество шутить. «Я стал подобен онтогенезу – каждая новая стадия закрывает прежние ступени свободы», – сказал он, слабо улынувшись, одному из друзей, обнаружив, что прикован к постели.

Он боролся за жизнь до конца, уповав вначале на силу медицинской науки, а затем на помощь разных «целителей» и «экстрасенсов». Последний месяц его жизни я провел рядом с ним – взял отпуск, ходил за лекарствами, приносил продукты, оказывал другую необходимую помощь.

В борьбе с болезнью С.В. оставался ученым-мыслителем, иногда проявляя незаурядное му-

жество и самообладание. Состояние его прогрессивно ухудшалось. Работоспособность падала. Короткие периоды мобилизации организма все чаще сменялись все более длительными депрессивными состояниями. Однажды, позвав меня к себе, он попросил: «У тебя ведь родственники-медики? Достань мне, пожалуйста, статистику по раку». «Понимаешь, – объяснил он, – если бы шансов выздороветь было процентов сорок или пятьдесят, я бы еще покувыркался. А так – может и нечего рыпаться». Через несколько дней я раздобыл требуемые графики и таблицы. Нес с тяжелым чувством – статистика была, мягко говоря, неутешительная. Про рак почки и его протекание меня тоже просветили. Учитель внимательно изучил графики и вдруг удовлетворенно сказал: «Вот видишь, 12 процентов. Это не так уж плохо...». Я не посмел возражать. «Господи, да какие еще проценты, лежи уж!» – не выдержала сидевшая неподалеку Маргарита Алексеевна. В ответ Учитель взорвался: «Это что, все, чем ты можешь ответить на серьезный разговор? Уходи сейчас же, не хочу тебя видеть!» М.А. всхлипнула и быстро вышла на кухню. Мы еще некоторое время поговорили о статистике и перспективах выздоровления, потом учитель успокоился и сказал: «Знаешь, нехорошо получилось. Пойди к ней и скажи, что я больной и потому капризный, что на меня нельзя обижаться. Пусть придет».

Можно ли было помочь Мейену? Врачи в один голос утверждали, что нет. Целители и экстрасенсы говорили, что их поздно позвали. Тем не менее, попытки помочь больному делались. Так, средняя сестра С.В. – Елизавета Викторовна с мужем однажды привели знакомого хирурга-онколога. Тот, осмотрев больного и предложил, пока позволяет состояние, ампутировать левую ногу. Опухоль метастазы, располагавшаяся на бедре вблизи коленного сустава давила на крупный нервный ствол, причиняя невыносимые страдания. «Надо решаться, – пояснил нам за закрытой дверью эскулап. – Опухоль, конечно, разрушится, а вот боли останутся, но уже фантомные, и с ними не сделаешь уже ничего! До конца будет гореть на медленном огне! Решайтесь, я готов немедленно сделать операцию».

К сожалению, в тот момент Учитель находился в депрессивном, плаксивом состоянии, и на обращенный к нему вопрос мотнул головой в сторону жены и дочери: пусть де они решают. Мать и дочь прошли на кухню, сели друг напротив друга. В который раз я поразился тому, как они похожи: и внешне, и внутренне. Понимали друг друга без слов. После недолгого молчания М.А. произнесла: «Не будем делать!». «Не бу-

дем!» – эхом поддержала дочь. Обе пессимистки и фаталистки, они считали положение безнадежным и стойчески ждали неминуемого конца. Уговоры были бессмысленны и бесполезны. А следовавшие вскоре фантомные боли – ужасны. «Когда боль до неба», – говорил о них С.В.

Пока позволяли боли, С.В. живо переживал начинавшиеся в стране перемены. Успел продиктовать свои предложения о необходимой «перестройке» в Академии наук. Написал соответствующее письмо генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву. В другом письме – своему высокому покровителю академику Б.С. Соколову – С.В. пытался повлиять на решение вопроса о назначении директора ГИНа. Весной предстояли выборы в Академию. С.В. был фаворитом Б.С. и имел все шансы пройти. Но судьба распорядилась иначе.

Врачи из академической больницы на ул. Ляпунова не лечили, а только сопровождали его к могиле, меняя в нужный момент обезболивающие на все более сильные. М.А. научилась де-

лать уколы. Иногда ее подозревают в том, что она сознательно тянула с введением наркотиков, чтобы, в случае выздоровления Учитель не стал морфинистом. В этом она не виновата. М.А. с самого начала не верила в возможность выздоровления. Верил С.В., который, пока мог, терпел невыносимую боль, не разрешая делать укол.

Морфин производил убойное действие, в результате которого С.В. в свои последние дни большую часть суток лежал, как труп. Морфий порождал у него яркие, реалистические видения, которых Учитель побаивался. «Представь, – рассказывал он, – иду я по улице или по коридору, со мной кто-то из моих друзей, с палеонтологического кружка. Молодые, одеты как тогда, идем, говорим про окаменелости. И вдруг я осознаю, что люди-то эти давно умерли. Я смотрю на них, а они продолжают беседу, ко мне обращаются...».

Агония его была короткой. Он был без сознания, никого не узнавал и ни на что не реагировал.

Е.В. Зырянов

В автобиографической книге, посвященной А.А. Любищеву, есть такие строки: «Сам по себе факт в науке еще не играет решающей роли. Хотя факты – “воздух для науки”, невозможно питаться одним воздухом». Факты приобретают научное значение только в рамках осмысляющей их научной теории. Я не случайно процитировал это высказывание, оно, по-моему, очень созвучно тем идеям теории познания, которые развивал Сергей Викторович Мейен.

С Мейеном я познакомился в 1985 году – он взял меня в лабораторию палеофлористики Геологического института для работы по давно задуманной им теме, касающейся генезиса арктических флор. Однако посвятил меня Сергей Викторович в свои планы далеко не сразу. Природный такт, соединенный с недюжинным интеллектом, позволял ему подводить своего «подопечного» к той или иной научной проблеме постепенно, без видимого вмешательства.

В начале моей деятельности (т.е. непосредственно после перехода в ГИН из института Министерства геологии) я продолжал заниматься своей прежней тематикой – палиностратиграфией кайнозойских неотектонических впадин крайнего северо-востока Азии. В этот период мы довольно часто беседовали с Сергеем Викторовичем о возможностях палеопалинологии в решении задач биостратиграфии, палеоклиматологии и т.д. Однажды, во время очередного разговора, он спросил меня: «А к чему

сводятся твои исследования? Какую в целом задачу ты хочешь решить?» Я был явно не готов к этому и довольно сумбурно начал рассказывать о значении стратификации позднекайнозойских континентальных толщ северо-востока Азии для поисков россыпных месторождений драгоценных металлов. В то время я был еще под впечатлением поисков третичных отложений, в которых (по преданию многих поколений старателей) должны быть небывалые запасы россыпей. Это, правда, здорово смахивало на поиски «Нежданного озера» героями Джека Лондона во времена «золотой лихорадки», но тогда я об этом не задумывался. Сергей Викторович внимательно выслушал меня и сказал, что это в какой-то степени тоже цель. После небольшой паузы он добавил: «Для меня же настоящая проблема характеризуется, прежде всего, тем, что по мере ее решения встают еще более масштабные задачи». Вскоре после этого, в разговоре он спросил нас (меня и кого-то из своих «мальчишек»), какие имена в первую очередь приходят на ум, когда речь идет о третичной палеоботанике. Мы наперебой стали называть А.Н. Криштофовича, О.Геера, А.Грея, А.Натгорста, И.Палибина и других корифеев. На что Сергей Викторович заметил: «Странно, а вот у меня почему-то возникают в памяти прежде всего Толмачёв, Попов». «Но ведь это же флористы и биогеографы, не имеющие отношения к палеоботанике?» – была наша первая



Палеоботаники – участники VIII Международного конгресса по стратиграфии и геологии карбона (Москва, 1975), слева направо: Б.Болин (B.Bohlin), А.Котасова (A.Kotasowa), К.-Х. Йостен (К.-Н. Josten), Э.Калерт (E.Kahlert), Я.Г. Тенчов, М.Бёрсма (M.Boersma), С.В. Мейен, О.И. Анисимова, В.Гавлена (V.Havlena), М.И. Радченко, (?), А.К. Щёголев, (?), (?), С.Г. Горелова, Д.Шторх (D.Storch), О.П. Фисуненко, О.Рёслер (O.Rösler)

реакция. «А кого из них ты читал?» – спросил меня Мейен. Дальше беседу продолжать было затруднительно, так как кроме «Флоры Средней Сибири» М.Г. Попова и отдельных статей А.И. Толмачёва я ничего не читал. С.В. сделал вид, что это его ничуть не удивило, и сказал, что принесет мне из своей домашней библиотеки все имевшиеся у него работы этих авторов...

В.А. Ананьев

В моей начавшейся в 1969 году палеоботанической деятельности важную роль сыграли В.А. Хахлов, Г.П. Радченко, А.Р. Ананьев и М.И. Грайзер. Не могу не упомянуть с благодарностью О.В. Юферева, В.И. Краснова, С.Г. Горелову, Т.А. Ищенко, В.Г. Лепехину, А.Л. Юрину, М.В. Ошуркову, Н.С. Снигиревскую, М.В. Дуранте и многих других видных палеоботаников и геологов.

Но особое место в этом кругу занимает С.В. Мейен, который как-то сразу, охотно стал моим

Сегодня, когда мы все больше убеждаемся в неизбежном сближении палеоботаники с геоботаникой (фитоценологией) – то, к чему Мейен пришел в середине 1980-х годов, нам все острее недостает этого удивительного мыслителя. Никогда больше не состоится этот удивительный феномен взаимного обогащения, посредством соучастия – сочувствия.

наставником. Почти каждый год мы встречались на сессиях ВПО и различных конференциях. Регулярно я приезжал и в ГИН. Вначале это было чисто деловое общение, связанное, например, с моим участием в VIII Международном конгрессе по стратиграфии и геологии карбона (Москва, 1975 г.), генеральным секретарем которого был Сергей Викторович. К публикации моих тезисов к конгрессу он отнесся очень серьезно. «В последнем абзаце у тебя ошибка, – беспокоился он (письмо от 30.12.1974). Никакой однозначности в

проведении границы C/D у нас и за рубежом нет. С 30-х годов границу проводят между *Wocklumeria* и *Gattendorfia*, а у нас по решению МСК в основании *Etroeugnt*. Так что для европейцев девонский возраст *Cyclostigma* – не «впечатление», а факт. Важно помнить еще два обстоятельства: в Ирландии *Cyclostigma* не с каменноугольными, а с девонскими рыбами. К тому же, уровень смены рыб девонского облика на каменноугольный никто пока не знает. Нельзя забывать и об эндемичности быстрианских рыб. Так что отнесение быстрианки к карбону пока не имеет должного обоснования. Вполне возможно, что род *Cyclostigma* характеризует и D₃ и C₁ при любом понимании границы между ними».

«Я думаю, что фототаблицы (а еще лучше специально подобранные увеличенные фотографии) стоит показать. Поскольку на конгрессе будет Швайцер, то стоит привезти и образцы, но, разумеется, не очень много. Особенно важно привезти *P. carneggianum*, определение которого у меня вызывает некоторые сомнения.

Публикация докладов будет обсуждаться позже. Мое личное мнение таково: основные части твоей диссертации уже опубликованы в ряде статей. Мы же не будем публиковать то, что раньше публиковалось в нашей печати. Должно быть что-то новое. Вообще же я умышленно не принимаю участия в этом деле, передаю все решать карбоновой комиссии (также было и при отборе докладов для зачитания и для демонстрации на стендах – все решало бюро комиссии). Как комиссия решит, так и будет» (письмо от 23.05.1975).

Постепенно деловые отношения переросли в дружеские, хотя и тесно связанные с работой. «Дорогой Володя! <...> Думаю, что статью о ле-



О.В. Юферева и С.В. Мейен (рисунки Л.П. Ананьевой на VIII Международном конгрессе по стратиграфии и геологии карбона, 1975)

пидофите можно опубликовать в «Палеонтологическом журнале». Там сейчас довольно крупный завал, но иного пути, видимо, нет. Придется стоять в очереди. На текст длиной 5 страниц фототаблиц не дают. Так что придется иллюстрации дать в тексте, причем немного – 3–4 фотографии.

По анатомии лепидофитов у нас специалист – Н.С. Снигиревская. Поэтому может быть стоит сначала послать статью ей на просмотр. С ее отзывом все будет дальше проще.

Посылаю свою книжку» (письмо от 19.10.1981).

Г.Г. Смоллер

Параллельно с общеобразовательной Сергей Викторович закончил музыкальную школу по классу виолончели. В начале 1940-х его семья подверглась репрессиям, поэтому путь к высшему образованию мог оказаться для него закрытым. Музыка должна была дать ему средства к жизни. Будучи учеником старших классов, Сергей Викторович вместе с друзьями организовали джазовый ансамбль. В то время джаз был запрещен, и ребята собирались тайком. В результате таких джазовых концертов был скандал в школе. Но любовь к джазу осталась у него до последних дней его жизни.

Когда у него было прекрасное настроение, он чаще всего насвистывал мелодию из кинофильма

«Моя прекрасная леди». В молодости Сергей Викторович посмотрел все фильмы с участием Джини Лоллобриджиды и Софи Лорен. Фотографии этих двух кинозвезд лежали у него под стеклом на рабочем столе. Однако, в последние годы жизни, став ученым мужем, кино практически не смотрел.

Круг его чтения составляла преимущественно научная литература, которую Сергей Викторович, чтобы не терять времени, читал в самых разных, иногда неудобных для этого местах. Помню такой случай: после трудового дня все возвращаются домой, в вагоне метро полно людей, многие в этой толчее умудряются читать, в основном – газеты, журналы, художественную

литературу. В уголке сидит Сергей Викторович, маленький, незаметный, и читает книгу. Кто-то из молодых людей решил к нему пристроиться почитать, но заглянув в книгу, ошарашенно посмотрел на Сергея Викторовича и присвистнул: «Во дает!» Сергей Викторович читал четвертый том монографии Р.Флорина по хвойным на немецком языке. Конечно же, читал он и художественные произведения. Настольная его книга была «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, из которой он частенько выдавал цитаты по случаю.

Отец С.В. занимался рыбоводством (репрессирован перед войной), но живо интересовался теорией и философией. Уже став известным ученым, Сергей Викторович пересмотрел работы отца, после чего отметил: «Надо было по-другому!»

Сергей Викторович работал практически непрерывно. Субботу и воскресенье он называл «самыми рабочими днями», и это не было преувеличением. Его любимым местом для работы дома был стол-бюро, принадлежавший его покойному отцу. Бюро было большим и завалено книгами, бумагами, карандашами и всякой мелочью. Со стороны – хаос! Но ни в коем случае нельзя было ничего убирать. Он знал, где что лежит, с закрытыми глазами протягивал руку и брал что нужно, не глядя.

Работу свою планировал всегда заранее, составляя план чуть ли не по дням, и вел дневник, куда вносил возникавшие вопросы и идеи. Требовал этого и от учеников. Я должна была записывать все появлявшиеся у меня вопросы. «Может, потом сама найдешь ответ, – писал мне Сергей Викторович в одном из писем, – но все равно записывай. Это очень важно (выделено С.В. – Г.С.). Ведь обучение в палеоботанике именно так и ведется, ученик показывает учителю все неясное и так набирает багаж, перенимает опыт. И это главный способ обучения, так как в систематических лекциях даются только самые азы. Такие вопросы очень важны и для меня, так как иначе я не в состоянии понять проблемы. И в этом отношении забудь о неудобствах тормозить меня».

Сергей Викторович очень любил своих домашних. Говоря о своей матери, называл ее ис-



С.В. Мейен на выпускном экзамене в музыкальной школе (Москва, 1953)

ключительно «матушка». О дочери говорил с нежностью «Катюня». Жену называл со студенческих лет «Ритка», и звучало это как-то молодо, тепло. Очень переживал в дни ее болезни, отмечал все ее движения, походку, наклон головы. Называл ее главным помощником и цензором своих работ. Души ни чаял в своем внуке – Петре Алексеевиче – Петушке, как он его ласково называл. О нем он писал и рассказывал взхлеб. Поощрял его всяческий исследовательский интерес. Например, они вдвоем взорвали два целых патрона, которые Петушок где-то добыл, чем привели в ужас остальных домашних.

Вообще его отношения с детьми были какими-то дружескими – вот, собрались два закадыч-

ных дружка, которых не разлить водой. С моей маленькой дочкой он клеил, рисовал бумажные птички, часы. Позже писал ей письма и до последних лет присылал для нее новогодние открытки, которые она коллекционировала.

Сергей Викторович был прекрасный собеседник, очень интересно и умело рассказывал, чем располагал к себе почти всех окружающих.

В последние годы часто стал говорить, что ему мало осталось жить и надо спешить все довести до конца. Когда я пыталась разуверить его в этом, он отвечал: «Я ведь смерти совсем не боюсь, только работу надо закончить».

Последнее письмо ко мне он написал 17 февраля 1987 года, уже лежа прикованным к постели, жаловался на боли: «На меня как на библейского Иова свалились все пакости. Я почти не могу работать... Самые тяжелые дни позади, но лежать мне еще не меньше месяца (если лечение будет успешным)».

30 марта его не стало.

Ниже приводятся отрывки из писем Сергея Викторовича ко мне:

14.04.1979: «На днях выступал в Доме Ученых с докладом о научной этике. Говорил, что обычно имеют в виду такие этические проблемы, как ответственность ученых перед человечеством и т.п. Я же, дескать, имею в виду совершенно другое. Ученые должны быть добры друг к другу, просто добры. Без доброты не может быть восприятия новых идей и т.д. Была любопытная дискуссия».

Апрель 1979 г.: «Если бы меня когда-нибудь повели на расстрел, то я бы отказался от повязки на глазах. Лучше все видеть».

Май 1979 г.: «В нашем доме у моей матери всегда были 2 правила по поводу провинившихся:

1) суд скорый, правый и милостивый,

2) с наказанием все заканчивается, конфликт исчерпывается.

Может быть, поэтому я не умею долго на кого-либо сердиться».

Июнь 1979 г.: «Человека, который в споре не будет говорить, что думает, надо только жалеть. Они сами заделали себя в тюрьму нелюбви».

31.03.1980: «Те удовольствия, которые некоторые предпочитают, не требуют приложения серого вещества, и уже потому человек с головой должен отнестись к ним подозрительно. Самому записывать себя в этот клан людей, по меньшей мере, унижительно в глазах приличных людей».

01.06.1980: «Все больше чувствую, как идут годы, как сильнее матерю, все сильнее смещаются жизненные ценности в сторону от материального к непреходящему».

12.08.1983: «Мы иногда говорим “быт засасывает”, но это не совсем точное выражение. Быт – не менее важен, чем работа, он не может засасывать, но может притягивать столько внимания, что на остальное почти ничего не остается. <...>

События последних 2-х лет, особенно смерть моей матушки, отчасти пребывание в больнице среди безнадежно больных меня сильно изменили, раньше я считал, что заматерел, теперь чувствую, что жизнь катится к закату. Времени, может быть, еще и порядочно, но нового уже ничего не затеешь, это внушает стабильность, меняет ценности».

02.05.1986: «С 1.5.86 г. я стал заведующим нашей лаборатории. Когда стало ясно, что заведования не избежать, и особенно после аттестации на новую должность на меня напала настоящая депрессия. Я все же не представлял себе раньше, насколько я не хочу быть завом. Теперь придется эту идиосинкразию как-то переламывать».

Т.В. Захарова

В 1973 году, учась на первом курсе геологической специальности геолого-географического факультета Томского госуниверситета, я прочла книгу С.В. Мейена «Из истории растительных династий» (1971). Судьба моя была решена – я хотела быть только палеоботаником. Вникнув в окружающую меня обстановку, я с удивлением обнаружила, что как раз на моем факультете для этого, в принципе, есть все возможности: томская палеоботаническая школа, созданная профессором В.А. Хахловым, хотя и начавшая угасать, еще функционировала и имеется великолепный Палеонтологический музей с уникальными палеоботаническими коллекциями. Я вступила в контакт с теми из преподавателей, кто

имел отношение к палеоботанике, и занялась научной работой первое время под руководством доцента Л.И. Быстрицкой, а затем под началом профессора А.Р. Ананьева. Но больше всего на свете я мечтала встретиться с автором поразившей меня книги. Наконец, в 1979 году, будучи уже аспиранткой А.Р. Ананьева, я попала в Москву. Вот здание Геологического института в Пыжевском переулке. Мы с профессором Ананьевым поднимаемся по ступеням лестницы на второй этаж и поворачиваем налево – туда, где в то время располагался кабинет, в котором сидел С.В. Мейен. Сердце учащенно бьется от сознания, что вот сейчас я его увижу – автора, кумира, гиганта! Около двери лаборатории стоял невы-

сокий человек с большими глазами скорее светло-зеленого, чем серого цвета и курил. Я почему-то сразу поняла, что это и есть С.В. Мейен, и на миг в моей душе, честно признаюсь, шевельнулось разочарование. Но едва Сергей Викторович улыбнулся (а это, действительно, оказался он), приветствуя моего спутника, знакомясь со мной, едва я слышала его голос, его простую и любезную речь, как тут же подпала под громадное обаяние его личности, устоять перед которым было совершенно немыслимо, и уже твердила про себя только одно: «Это он, какое счастье, что это он, именно таким он и должен быть». Мы приехали на официальное совещание (коллоквиум по палеозойской флоре), и поскольку руководил его проведением Сергей Викторович, то на нем царил праздничный, творческая атмосфера.

Весной 1980 года я отправила статью по роду *Margophyton* в редакцию «Палеонтологического журнала» и вскоре уехала в экспедицию в Хакасию. Вернувшись через 3 месяца, я нашла у себя на столе статью и рецензию на нее за подписью Сергея Викторовича. Рецензия была уничтожительной и разгромной, что повергло меня в подлинное отчаяние. Что делать? Выбросить статью, как неудавшуюся, опубликовать без всяких проблем в местной печати – и тут меня осенило! Я написала Мейену доброе письмо, начав его словами «Дорогой Сергей Викторович!», и далее подробно изложила свою точку зрения на род и вообще на девонские растения. Вскоре от Сергея Викторовича пришел благожелательный ответ, а еще через год статья была опубликована. Этим поступком я искренне горжусь: как часто мы впадаем в амбиции, не попытавшись донести до оппонента свои взгляды.

Во время моего следующего приезда в Москву в январе 1981 года запомнился такой случай. Сергей Викторович поначалу ничем не выделял меня среди других палеоботаников, мне же очень хотелось как-то обратить на себя его внимание, показать ему, что я не просто так взираю на отпечатки растений, а что-ли «града взыскую...». Наконец, мне выпал случай. Находясь на стажировке в лаборатории у Мейена, я завела разговор о его статьях о проптеридофитах, недавно опубликованных в «Бюллетене МОИП»²⁶. Я не нашла ничего лучшего, как заявить, что Сергей Викторович не может считаться автором термина «проптеридофиты» взамен устаревшего «псилофиты», так как это слово впервые ввел в литера-

туру Н.Арбер в 1921 году. Сейчас-то я понимаю, что по отношению к любому другому человеку этой фразы было бы достаточно, чтобы надолго нас поссорить. Сергей Викторович же только рассмеялся: «И зачем вы, Таня, читаете такую рухлядь как Арбер, Вам нужно активнее осваивать все новое», а потом спокойно объяснил, что правило приоритета не распространяется на таксоны рангом выше семейства. Я совершенно успокоилась на этот счет, как вдруг встречаю в его «Основах палеоботаники» (1987) на 58-й странице фразу о том, что название отдела проптеридофитов предложено Арбером. А ведь авторство понимания таксона, несомненно, принадлежит Мейену!

Был и другой эпизод. Сергей Викторович как-то собрался в Библиотеку естественных наук АН СССР, и я попросила его захватить меня с собой, так как плохо ориентировалась в городе, и самой мне было бы трудно ее отыскать. По дороге разговор шел на сугубо профессиональные темы. Сергей Викторович в считанные минуты обрушил на меня лавину сложнейшей палеоботанической информации, в ответ на что я потрясенно сказала ему: «Сергей Викторович, мне кажется, вы гений!». «Нет, Таня, – ответил он мне очень серьезно, – вряд ли я гений. Есть один пункт, в котором я слаб – это теория двойного оплодотворения Навашина. Пока передо мной записи, я все понимаю, но стоит оторваться от схем – и я не в состоянии все это воспроизвести. У гениев таких затруднений не бывает».

В октябре 1983 года Сергей Викторович приехал в Томск для просмотра коллекций девонских растений к моей кандидатской диссертации (незадолго до этого он дал согласие быть научным руководителем моей работы, чем не сказано выручил меня). Сергей Викторович сделал в один из дней великолепный доклад на заседании кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского университета о проблемах современной стратиграфии. Вечером, когда мы, возвращаясь с работы, шли с Сергеем Викторовичем по проспекту Ленина, он неожиданно стал читать мне стихи Тютчева и Фета. Это было невероятным: Сергей Викторович до сих пор казался мне аскетичным жрецом, всецело преданным науке и не способным на поэтические волнения. В ответ я с готовностью призналась, что отпаиваю себя от сухости палеоботанических занятий с помощью своих любимых А.Ахматовой и М.Цветаевой. Теперь-то я понимаю, что жестоко ранила его, человека иступленно любящего палеоботанику, своей тирадой. Он строго отчитал меня: «Палеоботаника выше всякой поэзии и любого вида искусства. Я лично

²⁶ Мейен С.В. Морфология проптеридофитов (псилофитов) // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1978. – №2. – С. 96–107; Мейен С.В. Систематика, филогения и экология проптеридофитов // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1978. – №4. – С. 72–84.

получаю огромное удовольствие от созерцания отпечатков древних растений под бинокляром. Это заменяет мне и Лувр, и театры». – «Но как же, Сергей Викторович, – робко попыталась “уличить” его я, – ведь Вы же только что читали стихи. Раз вы их знаете наизусть, значит, они вам нравятся, у вас есть к ним тяга». «Это обычная информированность образованного человека, а всерьез могут тратить на все это свое драгоценное время только люди, не любящие своего дела», – таков был его ответ. «Любить свое дело» – это был, пожалуй, жизненный девиз Сергея Викторовича, ради любимого дела, каковым для него была палеоботаника, он готов был жертвовать всем.

Как-то в одном из писем к Сергею Викторовичу я пожаловалась, что из-за вспыльчивости своего характера отношения с коллегами складываются у меня не всегда легко. В ответ он написал мне, что к коллегам, тем более, старшим по возрасту, всегда следует относиться «серьезно и почтительно». При этом, посоветовал он, «об окружающих следует думать чуть-чуть больше, а о собственном самолюбии, амбициях и т.д. чуть-чуть меньше. От этого мир всегда только выигрывал, и никто не проигрывал» (письмо от 24.5.1985).

Интересно, что когда я однажды в письме попросила Сергея Викторовича разъяснить некоторые непонятные мне моменты его статьи, помещенной в методологическом сборнике, он ответил мне, что статья написана лет пять назад, наспех, и вообще она неудачна по содержанию, и что сейчас его больше волнуют проблемы систематики хвойных. Он подчеркнул, что практическую палеоботаническую свою работу считает более важной, чем все методологические опусы.

Расскажу и о последней нашей встрече – за 5 дней до его кончины. Примерно за полгода до этого мы с ним виделись в Алма-Ате на III Ка-

захстанском стратиграфическом совещании. Сергей Викторович был необычайно бледен и хрупок, но у меня даже мысли не возникло, что конец может быть так близок. Слишком был он нужен всем нам, палеоботаникам, и старым и молодым. Сила его таланта делала его в наших глазах несокрушимым, всемогущим! Вдруг, наконец, попав в Москву после 6-летнего перерыва, я узнаю, что он болен. Это известие меня не слишком взволновало – он и до этого болел. Мне была назначена встреча у него на дому, я поехала. Как только я увидела его, я впервые все поняла. Это меня ошеломило и выбило из колеи. Стало ясно, что он угасает: длинные тонкие пальцы-персты исхудавших рук, одну из которых, левую, он протянул мне для рукопожатия. Волнистые отросшие волосы делали его похожим на Пушкина или на Блока. Огромные, казавшиеся синими из-за расширившихся зрачков глаза. Лицо его было прекрасным, в нем было что-то от лика святого как на лучших иконах. От всей его хрупкой фигурки, затерянной на белых простынях, казалось, исходил свет. Я понимала, что у меня мало времени, но не знала о чем говорить. Тогда начал он: расспросил о делах с утверждением темы по девонской флоре, в которых он принимал самое активное участие. У меня не хватило духу сказать ему правду, что тема, несмотря на все старания, не утверждена. Я сказала, что все обстоит прекрасно... Он расспросил меня о домашних, вручил «Основы палеоботаники» с дарственной надписью. Я кое-как отвечала, так что он даже улыбнулся: «Почему ты говоришь так тихо, ведь я-то вынужден это делать – у меня сел голос от лекарств». Он слабел, нужно было уходить, я привстала, тогда он, прощаясь, сказал: «Я ухожу, мне не больше недели осталось, остаешься одна, но ты на верном пути, не сворачивай с него, работай». Что я могла сказать? Я низко склонилась и поцеловала его руку.

Н.Г. Горелова

Я запомнила Сергея Викторовича еще со школьных лет, когда он приезжал в Новокузнецк. Естественно, палеоботаника и многочисленные мамы коллеги меня не очень интересовали. С.В. я запомнила потому, что он сразу же вошел в курс всех моих проблем. Выбирал фасон платья на выпускной бал, показывал па из чарльстона, которым я тогда бредила. (Говорят, что он танцевал этот танец виртуозно). <...>

И уникальная способность мгновенно войти в чужие проблемы, чувствовать чужую боль, принимать ее на себя – также была с ним всю его жизнь. Совсем по притче: самый важный человек

тот, которому ты нужен сейчас, самое важное дело – то, которое ты делаешь сейчас, самая важная минутка – та, которая сейчас длится.

Поэтому у многих людей, которые дружили или так или иначе соприкасались с С.В., было чувство «особой выделенности». Я тоже считала, что занимаю особое место в его жизни. Потом убедилась, так многие думают. Я знаю несколько его учеников, каждый считал себя «самым любимым». Да, наверное, и был таким. <...>

Об отношении С.В. Мейена к переписке можно написать целое эссе. Может быть, когда-то и где-то существовала такая область культуры –

эпистолярная, – я прикоснулась к ней только через С.В. Я хочу сказать даже не о содержании его писем, а об отношении к переписке,

Переписывались мы нерегулярно. Фактически несколько раз в жизни, в каких-то ключевых ситуациях, я писала ему письма.

Сначала эти ситуации касались научных вопросов, потом более серьезных проблем взаимоотношения с миром и людьми. Он всегда отвечал мне сразу и всегда удивительно. Я поражалась, где можно найти столько времени для меня одной. Как-то я зашла к С.В. сразу после отпуска, он еще не разобрал почту и показал мне метровую, я не преувеличиваю, мы вместе смирили, стопку корреспонденции. И это за месяц-полтора. Ну, пусть, половина разные там оттиски, пусть даже 90%, но все равно все надо прочесть, на все ответить. Так вот, отвечал он незамедлительно и, если не мог сразу подробно, то коротко: получил, пока то-то и то-то мешает вникнуть, тогда-то и тогда-то отвечу подробно. Но это только по научным

вопросам, по личным – всегда незамедлительно. Несмотря на то, что я часто после получения ответа надолго замолкала, не благодарила, не выполняла своих обещаний, потом лепетала свои жалкие извинения. За все время я не слышала от него ни одного слова упрека или даже тени недовольства. Новое письмо – снова с полной отдачей, как самое важное в жизни.

Я знаю, что на протяжении многих лет С.В. доказывали, что добро относительно. Что есть люди, которых еще в зародыше надо вырывать с корнем. «Увы, – отвечал С.В., – нет критериев, чтобы определить наверняка зло в зародыше, и до самого последнего вздоха у этого зла еще есть шанс покаяться и обратиться к добру».

Наверное, каждому из знакомых и близких Сергея Викторовича досталось свое наследство. Я запомнила: Личность и Добро – абсолютны, и как солнце, с равной силой освещают и обогревают всех, и «достойных» и «недостойных». В этом и есть единственный шанс «недостойных».